

ISSN 0131-6044

# РОМАН-10 ГАЗЕТА

(1160) · 1991

Владимир Солоухин

СМЕХ ЗА ЛЕВЫМ ПЛЕЧОМ





**Владимир Алексеевич Солоухин** родился в 1924 году в селе Алепине Владимирской области, в крестьянской семье. Еще в школе начал писать стихи. Первые публикации в центральной печати относятся к 1946 году. В этом же году поступил в Литературный институт имени М. Горького. После окончания института работал в «Огоньке» (корреспондент-очеркист) и в «Литературной газете» (член редколлегии).

Первый сборник стихотворений «Дождь в степи» издан в 1953 году издательством «Молодая гвардия». Основные книги стихов, вышедшие к настоящему времени: «Как выпить солнце», «Аргумент», «Седина», книги рассказов и очерков: «Свидание в Вязниках», «Олешинские пруды», «Зимний день», «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Третья охота», «Трава», «Продолжение времени» и другие. Широко известны его лирические повести «Владимирские проселки» и «Капля росы», романы «Мать-мачеха», «Приговор».

Одним из первых русских писателей заговорил в своих книгах об ужасающем положении русской деревни и русского крестьянина, о гибели памятников русской культуры и о необходимости их спасения.

Владимир Солоухин — лауреат Государственной премии РСФСР.

В 1975 году в Польше за книгу «Встреча с иконами» Вл. Солоухину была присуждена премия имени Володимира Петшаки.

Многие его книги переведены на языки народов СССР и на иностранные языки.

(1160) · 1991

Основана в 1927 г

## Владимир Солоухин

### СМЕХ ЗА ЛЕВЫМ ПЛЕЧОМ

Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водянной знак, который сам различаю, только подняв его на свет искусства.

Вл Набоков

1

— В конце концов, из хаоса, называемого прогрессом, можно выделить три основные линии.

— Не слишком ли упростим?

...Место на земле, по которому мы шли, а точнее сказать, прогуливались, располагало к неторопливому разговору. Это был парк бывшего княжеского имения, а теперь профсоюзного дома отдыха. Но, конечно, это обстоятельство не имело никакого значения для направленности нашего разговора. Точно так же мы могли бы идти по полевой тропинке, по дороге в диком лесу или по «царской тропе» в Ливадии.

Но все же ради точности надо сказать, что это было в парке профсоюзного дома отдыха (в бывшем княжеском парке) в тихий февральский день.

Да, был тот самый день февраля, в какой, наверное, навсегда и закрепилось за этим месяцем народное прозвание — февраль-бокогрей. Воздух был тих, свеж и холоден. Здесь у нас, на земле, внизу — где деревья, кусты и снег, — весь воздух был составлен из сложнейшего, не поддающегося никакому геометрическому учету взаимопересечения и взаимопроникновения голубых и золотистых объемов. Объемы, наполненные солнечным светом, все как один были золотистые, а объемы, наполненные тенью, голубыми, синеватыми и даже, при особой концентрации тени, — темно-синими. Кусты сирени держали снег на своих ветках. Каждый ком снега на ветке был наполовину золотой, а наполовину синий. И каждая тень от

ветки на снег или на другую ветку, и тень от снежного комка на другой снежный комок, и пустое пространство между снегом и ветками — все это представляло собою такое сложное взаимодействие голубого и золотистого, что, право же, ни один геометр не мог бы этот мир, этот праздник света разъять и разложить на его простейшие составные части: конусы, шары, овалы, кубики, параллелепипеды, трапеции и квадраты... Только красногрудые снегири, снующие и порхающие в сине-золотистых пластиах и объемах, разнообразили и нарушили наши чисто геометрические ассоциации. Только гораздо выше кустов и деревьев мир выравнивался в световом отношении, всякие пересечения света исчезали, сливаясь в ровную, беспределную синеву с четко очерченным солнцем среди нее. Я потрогал ладонью свою левую щеку и узнал, что она холодная, на правой же щеке ладонь услышала тепло, не мое, не телесное и кровяное, но лежащее на щеке нежным (золотистым?) слоем вселенское, солнечное тепло.

Февраль-бокогрей. Воздух тих, светел и холоден, снег хрустит, а с обреза крыши, обращенного к солнцу, редко, прозрачно капает. Зарождаются и растут сосульки.

Итак:

— Не слишком ли упростим? — возразил мне мой действительный ли, мнимый ли собеседник. Потому что как будто не мог я и один идти по длинной аллее бывшего княжеского парка в февральском сиянии золотого и синего, и возражать самому себе, и соглашаться с самим собой.

— Да, вот именно, не слишком ли упростим, выделяя из всей сложности так называемого прогресса три основные линии? От пещеры до Версаля, а от Версаля до стеклянных небоскребов, до вилл, коттеджей, особняков с горячей водой, телевизорами, холодильниками, калориферами, домашними барами, удобнейшими постелями, электрическими кухнями, специальными автоматами для производства льда, со стенами, раздвигающимися от нажатия кнопки, и гаражами, вмонтированными в само здание... А там еще от мазурки до твиста, от живого течения философских истин до окостенелых догм, от Дюрера и Веласкеса до измятых консервных банок, прикрепляемых к холсту и выдаваемых за живописное искусство, от арбалета до межконтинентальных ракет, от рыцарского копья до луча лазера, от бумажного змея до мягкой посадки на Луне, от жировых коптилок до гидростанций, от огромной детской смертности до катастрофического падения деторождаемости, от чумы до наркомании и алкоголизма, от ясности, порождаемой невежеством, до растерянности, порождаемой огромными знаниями, от побивания камнями, распятия на кресте и сажания на кол до электрического стула, от «гуманного» электрического стула до жестокого направленного влияния на наследственность (на гены)... Вы только вспомните, охватите единым умственным взглядом всю современную жизнь современного человечества... Как же уложить всю ее в три линии, в три пути?

— Не будем торопиться и возьмем сперва одну линию.

Было время, когда человек пробегал марафонскую дистанцию за три с половиной часа, и это вызывало

всеобщее восхищение. Сейчас марафонцы бегают за два часа с минутами. А недавно в спортивной газете я прочитал статью с вопросительным заглавием: «Марафонская дистанция меньше, чем за два часа?»

Было время, когда человек пробегал стометровку за тринадцать секунд, и это время считалось рекордным. Теперь у спринтеров дело подошло к тому, чтобы изменить десять секунд.

Прыжки в длину, в высоту, поднятие тяжестей, ныряние в глубину, плавание — какой бы вид спорта мы ни взяли, повсюду мы встречаемся с достижениями, которые сто лет назад казались бы нереальными. Значит, человек как таковой развивается, прогрессирует, он становится быстрее, сильнее, ловчее. Ну... не мы с вами конкретно, но человек в целом, человек как таковой. Значит, это одна из линий его прогресса.

Вторая линия наиболее очевидна. От каменного топора (как оружия) к водородной бомбе, от пироги, выдолбленной из ствола дерева, к современному авианосцу, от мотыги к шагающему экскаватору, от арбы к автомобилю... Радио, космические полеты, синтез белка, ну и так далее и так далее — прогресс невероятный, неправдоподобный, фантастический. И это — вторая линия.

— Существует еще и третья?

— А как же! Древние пророки говорили: «око за око» и «не убий». «Человек человеку — волк» и «все люди братья», «горе побежденным» и «возлюби ближнего, как самого себя».

Нравственность, моральные принципы, нормы поведения, примеры добра, воспитание духовных качеств, а значит, и все искусство и его изменение на протяжении веков — это тоже ведь линия развития. Куда же все это деть?

— Итак, мы наметили три линии...

— Да, три линии. А теперь подумайте и скажите, найдется ли хоть один факт, хоть одно явление в человеческой деятельности, которое было бы сверх этих трех линий и принадлежало бы некоторой четвертой?

— Пожалуй, вы правы. Искусство — третья линия. Наука, даже самая отвлеченная — все-таки вторая. Разве что чистый разум, философия... Да и то философия становится непременно либо наукой, либо политикой. Религия как чувство, может быть, и могла бы стоять особняком, но она ведь неотделима от нравственности. Общественное устройство опирается на технический прогресс и на моральные (или аморальные) принципы... Сдаюсь, сдаюсь. Три линии — и ничего больше!

— Поскольку мы согласились с тремя линиями, посмотрим, куда ведет каждая из них.

— Но мы же уяснили, что первая линия — это развитие мышц и вообще физических способностей, вторая — развитие интеллекта и третья — духовная жизнь.

— Да, но если обобщить и назвать?

— Например?

— Например... Только вы не удивляйтесь нарочитому огрублению, резкости суждения и непривычности слова, но я считаю, что первый путь развития — это путь человека к животному.

— Ну, знаете ли!

— А что? Леопард, пума, лев, горилла, слон... все

равно эти звери сильнее людей, бегают быстрее, прыгают выше и дальше нас. Много-много чего мы достигнем на пути физического развития, так это приблизимся к нашим четвероногим сожителям. Посмотрите на кошку. Она легко вспрывает на комод, который выше ее роста во много раз. Ведь не вспрывает же человек одним прыжком на крышу двухэтажного дома! Она грациозна, молниеносна, ловка. Она совершенна с точки зрения мышечного устройства. Я видел, как маленький паучок спускался с ветки высокого дерева, все выпуская и выпуская из себя паутинку. Это все равно, как если бы человек спускался с облака. Но когда паучок уже почти достиг земли и травы, ему что-то не понравилось, и он, теперь уже убирая паутинку, быстро поднялся опять. Каково? А белка, перепрыгивающая с дерева на дерево так, как если бы человек перепрыгнул с одного дома на другой через городскую площадь... Нет, идя по первой линии, человек культивирует и улучшает в себе чисто физические, чисто животные качества: силу мышц, их эластичность, их выносливость. Я не говорю, что это плохо. И слово «животное» я употребляю в хорошем смысле этого слова, а не в том, когда говорят про пьяного или примитивного человека: «Ну ты, животное!» Пусть люди будут сильны, ловки, выносливы и грациозны, как звери, пусть. Есть ведь и еще две линии одновременного и сложного развития человека, которых животные лишены.

— И куда же ведет вторая?

— К дьяволу. К сатане. Не к тому конкретному дьяволу, разумеется, который поджаривает грешников на сковородке и кипятит их в кotle, а к тому условному, умозрительному дьяволу, который в сознании человека (человечества) существует как воплощение и олицетворение зла. Да, если бы все зло мира могло воплотиться в живое существо, мохнатое и с рожками, то это существо хохотало бы и потирало руки, глядя, как мы, попав в его хитрую ловушку, лезем в нее все дальше и дальше. Особенно оно хочет, когда мы это все более глубокое залезание в ловушку называем прогрессом. Да, оно хочет, и надобно быть совершенно глухим (духовно), чтобы не слышать этого жуткого сатанинского хохота.

— Но блага, которые принесла нам цивилизация, они ведь бесспорны...

— Прежде всего, блага, которые принесла нам цивилизация, в большинстве своем условны.

— Что же условного в троллейбусе, вообще в автомобиле, телевизоре, городской квартире, телефоне, пенициллине, валокордине, в конце концов?

— Троллейбус — несомненно благо. В нем можно быстро и удобно доехать до места работы, до магазина, до рынка. Но почему троллейбус воспринимается нами как удобство и благо? Только потому, что существует пренеприятнейшая необходимость тащиться на другой конец города к месту работы или на базар.

Городская квартира — это прекрасно. Особенно, если в Москве. Но вот уже вы должны толкаться в электричке, чтобы доехать до чистого воздуха, до чистой воды и до чистой травы, которые все являются уже не условными, а подлинными благами. А если вы хотите добираться до чистого воздуха и до чистой воды-травы

скорее других, вы заводите себе автомобиль и вместе с ним приобретаете множество дополнительных, вредных и в общем-то не нужных человеку хлопот. Не забудем также, что ежегодно на земле гибнет в автомобильных катастрофах четверть миллиона человек, а три миллиона получают ранения иувечья.

Прекрасно и удобно метро. Но разве не от горькой нужды мы загоняем сами себя под землю и ползаем там по разным, пусть и красивым переходам. Неестественнее ли было бы человеку вольготно ходить по земле, там, где деревья, солнце и облака?

Если присмотреться и опомниться, то не трудно заметить, что каждое благо цивилизации и прогресса существует лишь для того, чтобы «погасить» какую-нибудь неприятность, цивилизацией же порожденную.

Великие блага — пенициллин, валокордин, валидол. Но для того, чтобы они воспринимались как блага, нужна, увы, болезнь. Здоровому человеку они не нужны. Точно так же и блага цивилизации. Вот в чем главная сатанинская закавыка. Мы утоляем жажду напитком, еще больше разжигающим нашу жажду. И остановиться уже нельзя.

Вы только представьте себе: дышать свежим воздухом нужно ехать за сто километров! Да и свежего воздуха становится все меньше и меньше. Почти все реки отравлены и загрязнены. Встает вопрос, чтобы добывать пресную воду из морской. Это на нашей-то планете, которая как будто нарочно создана, чтобы удовлетворять все и физические, и духовные потребности человека. Потому что на ней и все есть, и она умопомрачительно красива. Ее красота располагает к созерцанию, к самосозерцанию, к радости, к ликованию, к любви, к умиротворенности, к общению с беспредельным и вечным.

Но, идя по второй линии, как мы ее определили, человек запутался и сбился с пути. Истинные блага, дарованные нам на земле, он либо отодвинул от себя, так что не может ими повседневно пользоваться, либо в заблуждении не считает за блага, а пользуется благами мнимыми и считает за благо все то, что вовсе не является благом.

Как рыба создана жить в воде, а птица создана летать, так человек создан жить среди природы.

Вместо того, чтобы жить несуетливой, размеренной, в ритме календарного года, жизнью, есть простую, но здоровую пищу, пить светлую вкусную воду, дышать чистым воздухом, пользоваться огнем от сгорающего дерева, ежедневно физически трудиться (но не подневольным трудом), удовлетворяться тишиной и миром домашнего очага, находиться в постоянном контакте с землей и небом, с природой... Нет, я не говорю, что был такой вот золотой век, полная благодать и все были счастливы. Но если бы человечество через все людские беды и неурядицы стремилось к такому образу жизни и заметно приближалось к нему, если бы при этом развивались и обогащались духовные способности человека, то это был бы, конечно, истинный прогресс. А теперь... Сигарный дым вместо свежего воздуха или дым городов, работа в шумных цехах, повсеместный алкоголь, наркотики, повсеместный распад семей, сложные коктейли вместо чистой воды, кошмар телевизора, ди-

кие искусственные скорости, постоянная спешка, гонка, нервы, а отсюда — болезни и болезни...

Один германский ученый так сформулировал эту мысль:

«Беспрерывно убывающийся технический и промышленный прогресс должен быть оплачен постоянно усиливающимся человеческим регрессом, осуждением гуманного начала».

Статья Иоахима Бедемора, откуда взяты эти слова, напечатана в «Литературной газете» 5 марта 1969 года. Можете прочитать.

Заманчиво, конечно, побывать на другом конце страны, земли, на другом континенте за два, за четыре часа, за восемь часов. Но это если есть необходимость мчаться туда сломя голову. Необходимость же эта мнимая, человек породил ее сам, вернее, она порождена, возникает перед ним помимо его воли и сознания как результат его движения по второй линии.

И вот еще что. Марко Поло, Афанасий Никитин, Крашенинников, Чехов, Гончаров, Чарльз Дарвин, Карамзин, Миклухо-Маклай (не будем продолжать списка) совершили каждый в свое время далекие много-месячные и многолетние путешествия соответственно в Китай, в Индию, на Камчатку, на Сахалин, на фрегате «Паллада», на корабле «Бигль», в Париж, к папуасам. Каждый из них написал по интересной книге. Мы же, слетав за несколько часов в Якутию, в Хабаровск, даже в Америку, не можем выжить из себя простой газетной заметки.

Не в заметке, конечно, дело, а в том, что они при их примитивных способах передвижения не были менее счастливы, чем мы. Или — можно сказать и так — мы нисколько не счастливее их.

А если это так, то где же прогресс? Какой же это прогресс? Только тот прогресс я считал бы истинным, который увеличивает на земле общее количество счастья. Или хотя бы уменьшает общее количество зла.

Зададим сами себе прямой вопрос: растет или не растет на земле зло? Мы будем вынуждены ответить, что растет. Если взять пятьдесят лет двадцатого века и подсчитать, сколько человек за эти полвека умерли насильственной смертью, и взять любые другие пятьдесят лет человеческой истории, то ни в абсолютных цифрах, ни в процентах наше время не найдет себе равного. Один какой-нибудь калужский или тамбовский отдел ОГПУ уничтожил людей больше, чем вся пресловутая инквизиция. А войны, а голод, а лагеря, а жертвы преступности, а так называемая коллективизация?

Два взрыва атомных бомб в Японии — вот и вся великкая армия Наполеона.

Подсчитано, что в России после 1917 года так или иначе погублено около семидесяти миллионов человек. А ведь еще была Германия с гестапо, испанская война, Абиссиния, Куба, Вьетнам, Афганистан, африканские государства с их бесконечными переворотами, арабо-израильская конфронтация, антикоммунистические путчи в Индонезии и Чили... А знает ли кто-нибудь хоть примерно, сколько китайцев погибло за эти десятилетия?

Это мы берем только убийства, только насильственную смерть. А принудительный труд, принудительный

образ жизни, насилие? О росте преступности, наркомании, алкоголизма, сексуальной разнозданности мы уже говорили. Все это тоже есть зло. Значит, прогресс, который ведет к явному приумножению зла на земле, мы имеем право назвать движением к дьяволу, ибо этим словом мы решили называть воплощение и олицетворение зла.

— Итак: к животному, к дьяволу... а третий путь?

— К Богу. Не к тому Богу, который сидит на облаке, а к тому условному, умозрительному Богу, который в сознании человека (человечества) существует как олицетворение и воплощение добра. Да, путь к добру, к душевной чистоте, к душевному благородству, к духовному богатству и накоплению духовных ценностей.

Физическая тренировка и наращивание физических возможностей, согласитесь, лежит за пределами духовной жизни, добра и зла. Наука (вторая линия) может уничтожить Луну, взорвать ее к чертям, чтобы не возбуждала океанских приливов и любовных желаний, но она не может сделать человека хоть чуточку добрее.

— Но тогда нужно признать, что третья линия не только прозябает и не имеет никакого движения вперед, но, наоборот, регрессирует, ибо мы пришли к выводу, что на земле увеличивается количество зла, а не добра.

— В том-то и дело. Человечество оказалось в ловушке у дьявола и движется по дьявольскому пути. Надежда только на то, что, катясь по наклонной плоскости и докатившись до самой пропасти и уже заглянув в нее, человечество, возможно, сумеет отшriнуть в последний момент назад, судорожно отползти, цепляясь за траву, и тогда начнется реакция. То есть движение назад, а в сущности — вперед и вверх.

...А между тем лес, по которому мы шли, мир вокруг нас был прекрасен. Были красивы каждое дерево, стоящее в лесу, каждая ветка дерева, каждый ледяной кристалл на древесной ветке, отражающий в себе, на поверхностный взгляд, одно только солнце, а на самом деле, наверное (если бы сфотографировать при помощи утонченной техники), и синее небо, и белый снег, и вообще все вокруг. Правда, иное дерево или иная ветвь выглядели теперь корявыми, асимметричными, даже уродливыми, и нельзя было бы сказать про них, что они красивы. Но они ведь были задуманы и начали расти не такими, а стройными, симметричными, как и все деревья и ветки. Однако лесная теснота, жгучий мороз, древесные болезни, бури и тяжесть снега обкорнали, изуродовали их, заставили расти вкривь и вкось, обломаться, засохнуть, отмереть...

— Ну что же? Все, о чем мы говорили, забавно, хотя и может быть оспорено с тех или иных, преимущественно крайних позиций. Но мы говорили о человеке вообще, о человеке обобщенном, как бы с большой буквы, а если взять одного, отдельного, конкретного человека — какие там три пути!

Физзарядкой и спортом он, допустим, не занимается и, значит, мышечную систему не совершенствует, и, значит, на первом пути его нет. Это кто-то, это как бы человечество в целом, человек как таковой бегает все быстрее, прыгает все дальше, поднимает все выше... но, согласитесь, не мы же с вами. И не эти вон идущие

подвыпившей гурьбой нам навстречу, наверное, строительные рабочие из соседнего городка.

Возьмем одного из них и рассмотрим его. Установили, что спортом не занимается, а если и занимается (катаясь, например, на лыжах), то в пределах установленных норм, а вовсе не двигая вперед человеческие мышечные возможности. Технический прогресс он тоже не двигает. Он, конечно, невольно и бессознательно участвует в нем, так же, как, скажем, токарь, или электрик, или водопроводчик, но ничего нового не придумал, не изобрел и вперед технический прогресс не продвинул. Оставалась бы ему третья линия, но он и об этом совсем не думает. Играет в домино, выпивает, смотрит хоккей по телевизору. Зачем же он? Откуда он взялся и зачем? Какой замысел вложен в сам факт его существования?

Согласимся, что все-таки труднее всего такому отдельному, конкретному человеку увильнуть от второй линии. Мускулатуру свою можешь не тренировать, о нравственности не думать, но что-нибудь делать ты должен. Быть шофером, сварщиком, трактористом, продавцом, директором завода, конструктором... Конечно, как мы уже говорили, средний специалист непосредственно сам технического прогресса вперед не двигает, но он все же — та почва, из которой все растет, и то основание, на которое все опирается.

— Но неужели нет никакого другого смысла в появлении человека на свет, в его пребывании на земле и в самой его жизни? Зачем ему даны его личные переживания: горести, радости, обиды, поражения и победы? *Зачем он еще и обособленная, самостоятельная личность?* Нет, что ни говорите, если есть обособленная от всех, совершенно самостоятельная, абсолютно не взаимозаменяемая личность, значит, должно быть у нее и свое назначение, своя функция, свой смысл кроме общественной функции — быть частицей современной цивилизации. Легче предположить, что личность лишь вынуждена быть составной частицей общества, потому что куда же денешься, если невольно оказался в сонме себе подобных? Но цель-то, возможно, была своя?

Вот мы все — ад да ад! А я слышал легенду, что земля наша и есть не что иное как ад, куда посылаются души...

— Откуда?

— Ну... из какого-то другого, верхнего, или, по более современному, параллельного, мира... Да... так вот, на землю будто бы посыпаются души в наказание за преступки, на мучения и пытки. Вся наша жизнь будто бы и есть — ад. Это выдумка и легенда, бесспорно. Но ведь как похоже, если взглянуть на всю нашу жизнь под этим углом! Там-то они живут, купаясь в нирване, — вечный свет и вечный покой. Безмятежность. Безмерность. А здесь у нас?

Уже с детства — пытка тем, что тебе хочется, а не дают. Пытка тем, что другому дали больше и лучше, чем тебе. Пытка тем, что другого, оказывается, любят больше, чем тебя. Пытка болезнями. Пытка болью во время рождения детей. Пытка боязнью потерять детей. Пытка болезнью детей и их потерей. Пытка, когда дети на твоих глазах голодают. Пытка тем, что другие дети

успевают больше и лучше, чем твои, а твои сбиваются с пути, а часто и гибнут. Пытка физическими лишениями, подневольным трудом, вообще тяжелым трудом. Пытка голодом и холодом, вечной озабоченностью о семье и о своей собственной материальной обеспеченности. Пытка неразделенной любовью, ревностью, бессилием, несоответствием желаемого действительному. Пытка уязвленным самолюбием, ожиданием чего-либо, склокой, тоской, печалью, скорбью, потерей близких... Своих близких, любимых — и закапывать в землю! Вы только вникните в это! Пытка ожиданием собственной смерти и постоянной боязнь ее... Я уж не говорю о пытках войнами, тюрьмами, казнями и буквальными пытками в тюрьмах...

— Ну, тут, мне кажется, есть просчет. Все-таки большинство посланных на пытки в конце концов благословляют земную жизнь и даже возносят благодарность за нее и не хотели бы променять нашу юдоль на вечное безмятежное блаженство. Нет, вы заставили меня вспомнить другую, похожую, но все-таки и другую легенду. Послушайте.

Оказывается, где-то там, наверху, или, как вы изволили выразиться, — в параллельном мире, тоже, как и у нас, идет борьба, война. Борются свет и тьма, добро и зло. Два начала, две стороны, две армии. Значит, каждый должен выбрать ту или эту сторону. Но, представьте себе, многие, как и у нас, не знают, куда примкнуть, под чьи знамена им встать. Ну, у нас этот вопрос, как вы знаете, решается очень просто: приходит повестка из военкомата... Не спрашивают, хочет ли человек воевать и хочет ли он воевать именно на этой стороне против той. Может быть, он вынужденно воюет на этой стороне, а сочувствует другой. Или наоборот. Но речь идет даже не о сочувствии. Сочувствие уже активно, оно уже есть выбор. Речь идет о совершенно не выбравших, не примкнувших. Полное неведение симпатий и антипатий. А принуждения в виде мобилизации там нет. Трибуналов и расстрелов за дезертирство нет, штрафных батальонов нет. Нет даже пропаганды и агитации. Необходим вполне добровольный, самостоятельный и осознанный выбор.

— Не вижу пока никакой легенды.

— Легенда состоит в том, что никуда не примкнувшие, не разобравшиеся в добре и зле души посыпают в наш мир, на землю, воплощают в земных людей, чтобы в течение жизненного пути, постоянно варясь в добре и зле, они могли взять ту или другую сторону.

— Но почему же мы об этом не знаем?

— Главная мудрость. Если бы мы знали, то к нашему выбору примешивались бы дополнительные мотивы, рациональные рассуждения. Мы взвешивали бы «за» и «против», искали бы выгоду и корысть. Нет. Выбор должен быть чистым, полным и окончательным. Чтобы ничего не влияло на выбор колеблющейся и непримкнувшей души. Прежде чем ее вселить в бренное и временное тело, дается ей полное забвение того, что было, и полное незнание того, что будет. Ее отключают от центральной воли и на время предоставляют ей полную самостоятельность. Выбирай.

— В таком случае легионы «темных» там, в парал-

лельном мире, беспрерывно и бурно пополняются. Мало кто сейчас выбирает добро и свет.

— Ничего не известно. Разве мы знаем, как итожит свою жизнь каждый человек за пять минут; за минуту, за мгновенье до смерти, наконец, в самое мгновенье смерти? Выбор может состояться в последний миг. Но выбора не состоялось бы, если бы этому мигу не предшествовали бурные и страстные десятилетия жизни.

— Послушайте! Теорию вашу, условную и метафизическую, мы отбросим. Но если просто взять ее как мерку, как аршин, и подойти с этим аршином к человеческой жизни. К какой-нибудь одной. Легче всего к своей. Вы же литератор. Вы не пробовали взглянуть на свою жизнь с этой точки зрения? Она ведь вся, согласно вашей, пусть и условной, теории, проходит между добром и злом, между Богом и дьяволом. Вот и взглянуть бы и разобраться — что в жизни было движением к свету, а что движением к тьме.

— Я думаю, это невозможно. На доске жизни мы очень плохие, можно сказать, даже бездарные шахматисты. Мы не только не видим игры вперед, но не понимаем смысла и последствий ходов, уже сделанных нами. В сущности, мы играем вслепую, связь явлений, связь причин и следствий нам практически недоступна. Как же я буду оценивать свою жизнь и свои поступки? Почему я знаю, к добру или ко злу приведет движение моей руки?

Я ударю человека, и его отвезут в больницу. Это — зло. Но если бы человек не оказался в больнице, он попал бы под грузовик и его убило бы насмерть, мое зло обернулось добром. Но если бы человека не убило грузовиком, то от него родился бы сын, который сделался бандитом и зарезал бы четырех человек, в том числе беременную женщину. А ребенок, погибший в чреве зарезанной женщины, мог бы стать Моцартом или Блоком... Добро опять обернулось злом.

Вспомним старую детскую сказочку.

Мальчик собирается бежать по цветочной поляне, а некий голос ему говорит:

— Не бегай по этой поляне, ты погубишь родину, принесешь ей неисчислимые бедствия.

Мальчик не послушался, побежал. Землетрясения не случилось, гром не грянул, революции не произошло. Родина осталась цела.

— Ты солгал мне, неведомый голос, — сказал мальчик. — Вот я пробежал по этим цветам и все осталось по-прежнему.

— Не все. Пробегая по поляне, ты спугнул бабочку, сидевшую на цветке. Бабочка улетела с поляны и залетела сквозь золоченую решетку в королевский сад. От этой бабочки произойдет гусеница, которая в будущем году заползет на голую шею молодой спящей королевы. Та испугается, у нее произойдет выкидыш плода, погибнет законный наследник престола. Власть захватит брат короля — от природы коварный, злой и жестокий человек. Он доведет народ до отчаяния, вызовет волнения и смуты, а это и приведет страну к разорению и гибели.

— Ну хорошо, пусть так. Пусть мы не можем постичь связи явлений. Но все-таки неужели нельзя всмотреться в земной путь одного человека, в извилины,

изгибы этого пути, но разглядывая при этом не только внешние события, но и внутренние побуждения. А потом уж внешние результаты этих побуждений.

— По-моему, этого сделать нельзя. Во-первых, бумага терпит только определенную степень человеческой искренности. Есть границы, через которые переступить невозможно. А не переступив через эти границы и не заглянув в самые интимные отсеки человеческой сущности, нельзя правильно понять и оценить некоторые внешние поступки человека. Во-вторых, я буду думать — повторимся — про какой-нибудь случай, что он оказал решительное влияние на мою жизнь и повлек за собой большие перемены, тогда как дело было совсем не в нем. В то же время я пройду мимо кажущегося пустяка, который на самом деле был настоящей пружиной действия.

Вон, Гончаров пишет во «Фрегате «Паллада», что случались моменты во время плавания, когда ему было страшно и он думал, что корабль гибнет, а никакой реальной опасности в это время не было. И, напротив, корабль иногда действительно находился на волосок от гибели, а Гончаров этих мгновений даже не замечал. Так ведь это просто корабль в океане, а насколько сложнее переплыть через океан жизни!

Это было бы захватывающе интересно — написать историю человеческой жизни, докопавшись до тех истинных толчков и подводных камней, которые меняли ее течение. Но в действительности никто не знает, что из чего произошло и что к чему приведет.

Да, наверное, на что-нибудь, на кого-нибудь, на какие-нибудь события влиял и я. Несколько десятков лет я живу на земле. Я срезал прутья, из которых выросли бы деревья. Я сажал деревья, и они выросли. А отношения с людьми? А мои дочери? А мои книги, которые прочитали же, я думаю... ну, я думаю... несколько миллионов человек. Они же повлияли на сознание людей в ту или иную сторону. Как проследить, что изменилось, изменяется и еще изменится в мире только потому, что я народился на свет? И куда ведет мой собственный путь? И зачем? И на чем он должен остановиться?

Допустим, допустим, что в конце концов мне предстоит выбрать между светом и тьмой, добром и злом. Для этого и послали. Но как узнать мне, куда все же постепенно клонится стрелка? И почему она лихорадочно мечется от одной красной черты до другой через весь циферблат?

Как известно, красная черта на циферблатах приборов означает предел — высший верх или низший низ.

На многих приборах она означает катастрофу, взрыв, темноту, ничто.

## 2

Из ничего я появился в теплую июньскую ночь, ближе к утру. Несомненно, первыми земными звуками, которые я услышал, были истощные крики грачей. Они всегда кричат в это время.

В тридцати шагах от нашего двухэтажного, под железной крышей, дома — церковная ограда: кирпичное основание, кирпичные столбики, кованые решетки,

угловые башенки, кресты на них. Ограда по всей своей окружности обсажена липами. Их посадил мой дед Алексей Дмитриевич. Из общей липовой купы высовываются два крестика — церковный и колокольный. Липы, ближайшие к нашему дому, если не в полной мере осеняют его, то есть нависают своими кронами над крышей, то почти осеняют. А на липах — колонии грачных гнезд. Никак не могло случиться, чтобы в ту ночь не кричали грачи.

(Не потому ли я до сих пор засыпаю в своем доме, не обращая внимания на грачий гам, тогда как мои друзья, приехавшие в гости, не могут уснуть, и мучаются, и проклинают грачей, и даже удивляются, как это я до сих пор терплю, не посбрасываю грачные гнезда на землю, не изведу горластых птиц каким-нибудь способом.

Нервы у меня издерганы, изношены не меньше, чем у приезжих друзей. Я и сам не могу уснуть, если из крана в раковину капает вода или постукивает на ветру открытая форточка. Но оглушительного, надсадного крика грачей я как-то совсем не слышу. Я крепко сплю под кровлей того самого дома, где я возник из ничто однажды в теплую июньскую ночь.)

Колеблющаяся, не примкнувшая ни к темным, ни к светлым силам, не сумевшая выбрать, не знающая, чью сторону взять, душа летела сквозь мироздание, приговоренная к земной жизни, низвергнутая, брошенная высшей волей в зияющую темную пустоту.

Согласно условиям, она уже забыла все, что было до этого, и ничего не знает, что будет после. Она глуха, слепа и нема. Она — ничто. Она отключена от центральной воли и мчится только потому, что брошена, в силу заданности, инерции.

Не ясен вопрос: может ли она промахнуться мимо села, мимо дома, мимо крохотного комочка материи — нового жилища, уготованного ей на весь испытательный срок? Промахнется, шлепнется где-нибудь в болото, в речной омут или в колодец, а потом скажут: ребенок умер во время родов.

Но время выверено до долей секунды, координаты заданы точные, и она летит:

Как они уживутся друг с другом — вечная душа и ее новое, временное жилище: кто кого будет мучить, кто кого будет радовать? «Постепенно вечная душа оценила временное тело». Этой стихотворной строки тогда еще не было на земле.

Вот некая голубизна впереди и вокруг. Начинается крутое замедленное падение. Быстро надвигается глобальная кривизна планеты. Океаны, материки, народы. Очень уж микроскопична та мишень, в которую предназначено ей попасть. Ну ладно бы целый народ, ну ладно бы город, а то... И как она уместится в столь малогабаритном жилище, если сама практически беспредельна?

Но сейчас она отключена от центральной воли и потому ограничена, локализована. Более того, на время полета она сведена к ничто. У нее искусственно отнята память о прошлом и знание будущего. Полная темнота и полная тишина. Небытие.

Земля, где ей придется проходить предусмотренные испытания, стремится навстречу. Ее края распрямля-

ются. Она становится плоской. Потом края загибаются, но уже кверху, и земля похожа теперь на пологую чашу, до краев наполненную лунным светом.

Только бы не промахнулась душа. Два крестика высовываются из купы деревьев — прекрасный ориентир. Немного правее блестит от росы и луны железная крыша дома. Желтоватым светом керосиновой лампы светится открытое окно во втором этаже. Суетятся люди, греется вода. На широкой кровати с фанерованными орехом спинками мечется женщина. Крестик церкви, липы, железная крыша, окно... Кривая стремительного полета гаснет, как след звезды, скатившейся по летнему небосводу. Или как след от трассирующей пули, попавшей в цель. Последнее мгновение темноты и тишины, небытия... Шлеп! Тишина лопнула, взорвалась оглушительным криком грачей на старых липах.

Тотчас возникли и другие земные звуки. Кто-то сказал:

— Ну, вот и все. Мужик. Поздравляю.

А Степанида Ивановна прошептала бессильно, лежа на спине:

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Вслед за всем раздался высокий заливистый крик. Это закричала уж сама она. Может быть, от непривычной первоначальной тесноты нового обиталища. Может быть, сразу же поняла всю жесткость приговора и всю мучительность предстоящего испытания. А может быть, она закричала от радости, что не промахнулась, что кончились полные темнота и тишина, кончилось полное ничто.

Теперь — истошные крики грачей, шепот в доме о том, что — мальчик, расплывчатый свет от керосиновой лампы, впрочем, уже ненужный, потому что совсем рассвело. Теперь — бытие.

### 3

Предыдущий день был ярким и праздничным. Троица. В церковь шли — мужики в картузах с лаковыми козырьками, а бабы в белых платочках в какой-нибудь там горошек или цветочками. А в руках цветы. На полу в церкви — цветы. Иконы украшены цветами, а дома в селе — молодыми березками.

В этот день в соседнем, большом (по сравнению с нашим) торговом селе Черкутине — престол. Церковь у них во имя Троицы. Большое гулянье и в самом селе, и в Клещиковой роще — в березовом лесу, в километре от Черкутина. Мои сестры, девицы, Клавдия двадцати одного года, уже окончившая образцовую женскую гимназию в губернском городе. Владимире, Тоня — двадцати лет, Валентина (через несколько дней она станет моей крестной) — семнадцати и Катюша — шестнадцати лет, в этот день гуляли в Клещиковой роще и в Черкутине. На них были, наверное, светлые, может быть, соломенные шляпки с лентами и светлые же летние платья. Они видели, как ближе к вечеру этого Троицына дня к дому доктора Николая Васильевича Лебедева подъехал на Голубчике, запряженном в легкий тарантас, их отец, Алексей Алексеевич. Жена доктора (она же акушерка), Елизавета Павловна, села в тарантас,

и тот, легко пружиня на рессорах, повез ее в сторону Алепина.

Считалось, что все это происходило с 13 на 14 июня, и таким образом, 14 июня я всегда считал днем своего рождения. Так оно и написано в разных анкетах, которые мне приходилось заполнять, и в разных там биографических справках, вплоть до Большой Советской Энциклопедии, до многотомного справочника, издающегося где-то в Англии и известного под названием «Кто есть кто».

Но однажды мне позвонила Люда Гребенщикова, поэтесса, тонкий лирик, которой я помог некогда с выходом первой книги.

— Владимир Алексеевич, у меня в руках сводный календарь с XVI века по XXII. Вы родились 14 июня 1924 года. В этот день была суббота, послушайте о личных качествах людей, родившихся в субботу, согласно японскому гороскопу...

— Любезная Людмила Анатольевна, благодарен вам за звонок и внимание, но дело в том, что я не мог родиться в субботу. Ни в коем случае.

— Ничего подобного! 14 июня 1924 года была суббота...

— Значит, я родился не 14 июня.

— Но почему?

— Потому что я родился в Духов день. Есть такой праздник. Всегда — на другой день после Троицы. А Троица всегда в воскресенье. Она меняет числа в зависимости от Пасхи, но всегда в воскресенье. Духов день всегда в понедельник. Понимаете?

— Но почему вы уверены насчет Духова дня?

— Уверен... В нашей семье могли забыть или перепутать числа, но праздник — нет: В этот день мои сестры гуляли в Черкутине, понимаете? Была Троица. Они видели, как Алексей Алексеевич на тарантасе приезжал за Елизаветой Павловной...

— Кто такая Елизавета Павловна?

— Акушерка. Понимаете? А ночью, ближе к утру, я родился. С воскресенья на понедельник. Фактически уже в понедельник. В Духов день.

— Ну значит, 16-го? А как же вам теперь быть?

— Действительно... — Вдруг меня осенило: — Знаете что? Теперь я буду отмечать свой день рождения по скользящему графику...

— То есть?

— Ну как же... Троица переходит с числа на число, и Духов день тоже. В этом году, например... дайте сообразить... Пасха была 30 апреля... плюс семь недель... Троица будет 18 июня. Духов день 19-го. Значит, в этом году я буду отмечать свой день рождения 19 июня. А на будущий год, скажем, — 11 июня... Великолепно! Но всегда в Духов день, понимаете?..

Людмила Анатольевна, поэтесса и тонкий лирик, все поняла.

4

Итак — шлеп! Разрыв оболочки небытия и крики грачей.

Земля, на которой я таким образом очутился, имела достаточно оснований называться одновременно и раem

и адом. Это и понятно, если иметь в виду главную цель, ради которой меня сюда забросило. Чтоб выбрать в конце концов между двумя крайностями, надо, чтобы эти крайности были и чтобы я имел возможность к ним присмотреться.

Я не мог тотчас же видеть, как в тишине июньской ночи, под пологом прохладного леса цветут и благоухают чистые, белые ночные фиалки и как ночные бабочки прилетают к ним, то зеленовато светясь, вспыхивая в лунных пятнах, то погасая, залетев в теневые места. Я не мог видеть даже пышного жасминового куста, цветущего в это время у нас под окнами своими белыми и душистыми цветами. Точно так же я не мог ни видеть, ни слышать, как в эту же июньскую ночь в тюрьмах и лагерях умирают или мучаются в ожидании смерти невинные люди, как их стреляют в затылок в подвалах разных ОГПУ, что считается проявлением гуманности по сравнению со стрельбой в лоб или в сердце.

Шел июнь 1924 года. Бессспорно, цвели ночные фиалки, бессспорно, летали ночные бабочки в тишине подлунного леса, бессспорно, страдали люди, бессспорно, в эту ночь убивали людей.

В моем положении новорожденного я не мог ничего ни видеть, ни знать, но если бы я, попав на землю, сразу же, сейчас же мог бы осмотреться, подобно космонавту, прилетевшему на другую планету, то я должен был бы с первых же минут заключить, что нахожусь в раю. Если же я мог бы в то же самое время постичь мысленным взором все, что на этой планете происходит, то, ужаснувшись, я тотчас понял бы, что меня забросило в ад.

Когда бы созвали самых вдохновенных художников и сказали бы им, что существует во вселенной голый камень и нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем, чтобы красота облагораживала, будила добрые чувства, делала лучше и чище, и чтобы она никогда не могла надоесть, и художники засучив руки принялись бы за работу, — что же, разве они могли бы придумать что-нибудь прекраснее земного неба? С луной и солнцем, в звездах и облаках, с радугами и зорями, во всех оттенках закатов и восходов?

Разве могли бы они придумать что-нибудь прекраснее земных морей, гор, рек, озер, водопадов, деревьев, цветов, наконец?

Когда бы созвали самых изощренных инквизиторов и сказали бы, что вот оборудуется некая лаборатория, некое заведение для мучений и пыток людей, что же, разве они могли бы придумать столь же изощренные и разнообразные пытки, набор которых преследует нас всю жизнь?

Что и говорить, обе крайности были тут же, одновременно и рядом, но чтобы постичь их обе, то есть и великую красоту земли, и великое зло, царившее на ней, и нужна как раз целая жизнь. Для постижения того или другого она и была мне дана.

К счастью, прежде чем пуститься в многолетнее плаванье через земную юдоль, был дан мне компас, на который я, к сожалению, взглядал с годами все реже и реже, а были годы, когда не взглядал совсем, как если бы его не было.

Отчетливо помню урок о двух крайностях земного

бытия, преподанный мне матерью на самых первых порах. Я думаю, что ни профессора, учившие меня впоследствии, ни писатели, книги которых я успел прочитать, не подарили мне столь же ясной и неотразимой конструкции, как это сделала Степанида Ивановна.

— У тебя,— говорила она,— где бы ты ни был и что бы ты ни делал, всегда за правым плечом стоит Ангел, а за левым плечом — сатана. (Она называла его — Лукавый.) Они видят все, что ты делаешь, и даже знают о том, что ты думаешь.

И вот, если ты сделаешь что-нибудь хорошее, доброе... ну там, заступишься за того, кого обижают, подашь милостыню, поможешь отцу с матерью, накормишь кошку, перекрешишься на ночь,— Ангел за правым плечом радуется и улыбается, а Лукавый морщится и корчится, словно его поджаривают. Если же ты сделаешь дурное — обидишь девочку или старушку и вообще того, кто слабее тебя, если огорчишь отца с матерью, будешь лениться; мучить котенка, то Ангел за правым плечом будет горько плакать, а Лукавый злорадствовать и смеяться.

— Почему он будет смеяться?

— Потому что это его козни. Это он нашептал тебе сделать дурно, а ты, дурачок, и послушался. Вот ему и радостно, что ты у него в руках. Вот он и хихикает и потирает руки.

— Почему же Ангел не шепчет, чтобы я поступал хорошо?

— И Ангел подсказывает, но только мы его меньше слушаем.

— Почему?

— Потому что другой-то, враг-то его — Лукавый... Вот они и будут всю жизнь тянуть тебя в разные стороны. Один будет губить, а другой будет спасать.

Ночью, лежа с открытыми глазами, я обещал себе, что всегда у меня мой Ангел будет смеяться и радоваться, а Лукавый за левым плечом будет корчиться и скрипеть зубами. Из психологических оттенков надо бы отметить именно тот, что, как же я подведу моего Ангела, как же я, так сказать, не оправдаю его доверия.

5

Дом, сад, село и все, что укладывается в круг нашего (если залезть на крышу) горизонта,— вот участок планеты со всей его обстановкой (извилистой речкой, небольшими сосновыми и еловыми лесочками на холмах, оврагами, лугами, полями), предоставленный мне для земного существования.

Из трех слагаемых — дом, сад, окрестности — первым беру и вспоминаю сад.

Если говорить строго, то, конечно, чем светлее и ярче был полдень, тем светлее было и у нас на дворе. Наружное летнее золото проникало сквозь разные дырочки в кровле и щели, тянулось наискось через все пространство двора желтыми, как солома, линиями, играло овальными зайчиками. Но все же благодаря эффекту относительности казалось: чем ярче и жарче на улице, тем темнее и прохладнее у нас на дворе. Это приводило к тому, что задняя калитка двора, будучи отворенной в

сад, сияла ослепительно, так что на нее трудно было бы даже смотреть, если бы к чисто-огненному солнечному сиянию ее не примешивалось там, дальше, смягчающее и охлаждающее взгляд зеленое сочное свечение травы и листьев.

Естественно, выйдя из задней калитки любого крестьянского двора, попасть сразу в мир грядок с огурцами, морковью, луком. У нас вы попадали как бы в объятия огромного жасминового куста. Он был высок и обширен, белоцветное душистое чудо. Словно лебедь опустился на землю и оказался по ошибке в компании домашних птиц — кур и гусей. Правда, он был не одинок в своей залетности, потому что рядом с ним были разделаны небольшие клумбочки, на которых цвели белые лилии и белые нарциссы.

(Сейчас при беспорядочной диффузии разных общественных сфер и слоев, а вернее сказать, при всеобщей перемешанности и винегрете, присутствие этих цветов в крестьянском огороде не может восприниматься как чудо или, во всяком случае, как редкое исключение, но тогда это было именно исключение и чудо, вроде как горностаевая накидка попала случайно и висит на вешалке вместе с дубленым полушибуком, суконной поддевкой и картузом.)

От калитки, мимо жасминового куста и лилий с нарциссами (наверное, там росли и другие цветы — астры, хризантемы, георгины, но память не удержала), шла в глубину сада узкая утоптанная тропинка. Память о ней хранят у меня преимущественно не глаза, а мои босые подошвы. Дело в том, что наш двор был выложен (его проезжая часть) крупными речными камнями, холодными в любую жару. Надо было пройти по ним, окружным, влажным и ледяным, босыми ногами, прежде чем попасть в сад. После этих камней теплая, ласковая земля садовой тропинки была сама по себе уже маленьким детским праздником.

Еще и теперь, когда кожа ног отделена от земли едва ли не целым вершком первосортного каучука или, на худой конец, микропорки, слышу памятью тот пронизывающий до лодыжек устойчивый холод камней и то моментально прогревающее до сердца внезапное радостное тепло. Трава, задевавшая за колени, тоже была прохладна, но это была уже другая, не каменная прохлада.

Тропинка уводила в глубину сада... Но надо было представлять себе наши масштабы. В дедушкином саду росло двадцать шесть яблонь. Ну, правда, было еще одно сливовое деревце, был участок малины (шагов до десяти в ширину и длину), были кусты черной смородины вдоль огородного тына (кустов, я думаю, до пятнадцати), немного вишни, уголок непроходимых джунглей из колючих деревьев и кустов терновника.

От яблока вкусили и Адам. Соблазнительница в раю могла бы подать в ладонях тяжелую виноградную кисть (кстати, столь похожую на женскую грудь и, значит, в символическом ряду лежащую ближе к любви, чем яблоко) или любой другой плод, орех, в конце концов, который тоже символизировал бы женское естество, ибо еще недавно один московский ценитель предмета утверждал, что женщину надо сперва раскусить и что будто бы попадаются крепенькие орешки.

Нет, не раскусить, а вкусить, и не склевывать по ягодке, а врезать зубы. Яблоко — плод плодов, и ничего другого — ни грушу, ни айву, ни хурму, ни какое-нибудь там экзотическое манго и авокадо — не могла протянуть в раскрытых ладонях первая женщина, предлагая первому мужчине всю сладость мира.

В райском дедушкином саду росло двадцать шесть русских чистокровных, без позднейшего мичуринского кровосмесительства и ублюдоности, породистых яблонь. Антоновки, грушовки, боровинка, анизовка, пресная бель, коричные и еще одна яблоня, которую мы называли липовой за то, что плоды ее по прозрачности, аромату и сладости напоминали липовый мед, если налить его, скажем, в тонкостенный, хорошего стекла бокал, а в середине поместить семечки.

Сад был невелик, но полон укромных уголков. Кроме того, определенно, ребенком он воспринимался иначе, нежели взрослыми. Взрослые знали: на таком-то месте стоит коричная яблоня, на таком-то грушовка, сего довольно. Ребенок жил в мире крупных планов. Известен сучок на яблоневом стволе, на который ставишь ногу, когда хочешь залезть на яблоню, известна шершавость ствола и его гладкость местами, изгиб, развилка, дупло. У каждой яблони свои микроприметы, свое особенное лицо.

Когда я в последующие годы заходил в наш сад, когда я захожу в него и теперь (как и вообще когда вхожу теперь в любой среднерусский пейзаж и ландшафт), мне кажется, что я захожу в дом, в котором никто не живет, в храм, в котором перестали служить. Мне кажется, я вижу русло реки, по которому больше не течет вода, дно пруда, который весь пересох. Вино без крепости, еда без соли, лес без птиц, весна без цветов, человек без души, природа без одухотворенности...

А еще в нашем саду жили пчелы, ульи стояли слева от тропинки задними стенками к ней, а летками, крылечками на юг, на вишенье, образовывавшее тут густую зарось.

Количества пчел из двадцати дедушкиных ульев хватало не только на наш сад, но и на другие сады, и на старые липы вокруг церкви, и на васильки в полях в первые дни весны, и на бело-розовые гречишные поля, и на лесные порубки с их иван-чаем, и на разноцветье лугов, и на каждый цветок, на какой бы меже он ни расцвел, и на каждую лесную опушку.

Лесная опушка; если разобраться, место такое же райское, как и сад. Нет там, правда, съедобных плодов — ни яблок, ни фиников, ни инжира, но — не единственным же хлебом жива душа. Куст можжевельника посреди роскошного ковра цветов (к солнечному пригреву), березки, глядящиеся в голубое озеро льна, мягкая подушка прохладного мха, бабочка, трепетно пересекающая воздушное пространство лесной поляны, разве это все не годилось бы в виде антуража, чтобы оформить место, уготованное для безграничного человеческого блаженства?

Наш сад был ничтожно мал для двадцати сильных, ухоженных пчелиных семей. Пчелы снимались с крылечка, круто взмывали вверх, огибая слишком близко растущее вишенье, и черными трассирующими линия-

ми исчезали в летней голубизне. Двадцать ульев с нацеленными в сторону юга круглыми дырочками летков беспрерывно, бесперебойно, с восхода и до заката обстреливали округу жужжащими черными снарядиками. Может быть, не было в окрестностях квадратного метра, на который не попадала бы наша, дедушкина пчела.

Захирело, распалось, расточилось, перевелось. И хотя стоит наш сад, и растет в нем трава, и цветут деревья, но чего-то не хватает, как-то пресно, пусто, холодно и мертвое. Залетит случайная пчелка, усядется на одуванчик и еще больше напомнит и оттенит убожество и сиротство на месте полнокровного и уверенного благополучия.

Утварь теряла надобность, выбрасывалась либо кое-как приспособливала в доме и хозяйстве, получая новые, иногда нелепые должности. Ведерный самовар, предназначенный для праздничного (после обедни) чаепития с гостями, превратился в умывальник. Вода из краника становясь мыльной и грязной, стекала (опять же) в большой медный таз, в котором некогда варили варенье. В медной ендове из-под медовой браги держали омерзительный керосин. В дубовом резном комоде, где лежать бы свежему, пересыпанному лепестками шиповника белью, валялись нелепые склянки, ламповые горелки, старые батарейки от карманного фонарика, оконные шпингалеты, обрывки проволоки, брусоchnик, кое-какое потерявшее облик вещей тряпье. Даже вилы-двоешки для ворошения сена за полной ненадобностью были приспособлены на подпорку под нагнувшийся яблоневый сук.

Старая кадка, выдолбленная из цельной липы (больше метра в диаметре), нашла себе место в углу двора — приспособили под куриное гнездо. Сухую голубоватую пустоту кадки до половины заполнили соломой. В середине соломы — ямка, получившаяся постепенно от сидения, тяжелой, горячей курицы. В ямке подкладыш — яйцо, сшитое из белой тряпочки, продолговатый мячик, набитый ватой, угловатый, кургузый, который никакое существо не спутало бы с настоящим куриным яйцом, кроме самой курицы, впрочем, может быть, более синхордильной, нежели неразборчивой и глупой. Рядом с безобразным подкладышем оставалось после сидения курицы безукоризненное по форме, выполненное законченности и даже изящества, полуопрзрачное на просвет, теплое, подлинное куриное яйцо.

Эту кадку нельзя было бы назвать огромной, если бы она была сделана из многих дощечек, как все обычные кадки. Но она была выдолбена из цельной липы и как таковая могла считаться редчайшей. Если бы воображение могло дорисовать по кадке ту самую липу, то возникло бы вдруг широкошумное дерево, рядом с которым (под которым) не только кадка показалась бы крошечной, но и наш дом, возможно, выглядел бы игрушкой. А оно, зеленое и темное, распространялось бы, подобно облаку, широко размахнувшись по небу ветвями, каждая из которых годилась бы на отдельное взрослое дерево и опиралась на ту кряжистую нижнюю необхватную часть своего ствола, что и соблазнила потом мастера, производящего кадки.

Нужно было ѹ отпилить и выдолбить, и все это можно

сделать, имея инструмент и руки, но как терпеливо нужно было выдерживать дерево, чтобы потом, на протяжении десятилетий, а может быть, и целых ста лет, не появилось ни одной трещины.

Кадка была тонкостенная и несколько волнистая по окружности. Может быть, она сохраняла очертания живого ствола, может быть, ее все же покоробило от времени.

Около дна проделана там была круглая дырка, защыкавшаяся деревянной затычкой. Значит, с самого начала кадка была задумана не для солки огурцов или квашенья капусты, а для того, чтобы наливать в нее какую-нибудь жидкость (и выливать, ототкнув затычку). Входило в кадку, думаю, ведер сто.

На излете и на исходе, когда старики кое-как, лишенные своего прошлого и без расчета на будущее, докоратывали свой век, эта кадка превратилась в куриное гнездо, сначала действующее, а потом опустевшее, потому что и куры перевелись. В углу двора, где она стояла, копилась и другая рухлядь. Кадка оказалась погребенной под ней и снова объявилась на свету только во время основательного ремонта дома (до которого по ходу этих заметок надо еще дожить). Все гнилое (включая и стены) было изъято и выброшено. Гнилушки образовали гору, и нам самим не сжечь бы ее и за десять лет, поэтому мы бросили клич соседям, и они быстро все разнесли по своим дворам.

Однажды, идя мимо соседского дома, мимо хеопсовской пирамиды из наших гнилушек, я остановился как вкопанный перед нахлынувшим на меня воспоминанием. На траве, рядом с гнилыми бревнами стояла прекрасная, тонкостенная, выдолбленная из цельного дерева, волнистая по окружности, голубоватого цвета (серая в общем-то, но все же голубоватая) липовая кадка. Дна у нее, правда, уже не было, но дубовая затычка в отверстии, как это ни курьезно, сохранилась. Эта затычка-то в первую очередь и всколыхнула мои воспоминания, о которых я сам не подозревал в своей захламленной бесполезным позднейшим хламом памяти. Тотчас я увидел, как руки деда осторожно раскачивают затычку (и уже начинают просачиваться сквозь раскачку золотистые капли) и как, достаточно раскачав, дед решительно и резко отдергивает дубовый кляп, порождая этим движением солнечную струю. Если бы была вода или, скажем, брага, то струя ударила бы далеко, крутой дугой, но жидкость, густая и вязкая, никла от собственной тяжести. Она даже и не текла, а ниспадала и там, где дотрагивалась до дна посудины, ложилась туда и сюда толстыми прозрачными складками и только потом уже растекалась ровным слоем.

Спрашивается, почему же воскресла в памяти именно струя, а не просто кадка, полная меду (тоже ведь внушительная картина)? Наверное, потому, что в те времена мне по малолетству в кадку было не заглянуть, струя же лилась на уровне моего роста, моего взгляда.

Я у соседа забрал нашу кадку, хотя бы и без дна, поставил ее на лужайке перед домом, и все вдруг увидели, какая она красавица.

Приходили бывшие крестьяне, трогали кадку ладонями, говорили:

— Да... теперь такой уже не сделают, давай хоть тыщу рублей. Стенки-то какие тонкие, как бумага.

Стенки, конечно, были толще бумаги, пожалуй, они были в толщину человеческой ладони, но, значит, при внушительных размерах кадки они производили впечатление необыкновенной тонкости.

— Теперь и липы такой во всем государстве не найдешь.

— Дело не в липе. Первое дело — дерево нужно выдержать. Если бы ее из сырого дерева выдолбили, разве бы она до сих дожила?

— Да... а сушить начнешь — потрескается. Опять никакой кадки не получится.

— О чём вы говорите, мужики! Чай, тогда все делались руками.

— Второе дело — руки. Где их возьмешь?

Иван Васильевич помер. Тот, пожалуй бы, мог.

— То-то и есть, что помер...

Так и стояла наша кадка на зеленой лужайке вроде музейного экспоната, но вскоре нашлась ей и служба. Молодое деревце, посаженное перед домом, требует, чтобы его оградили от неразборчивых козьих зубов. И вот получилась картина: потерявшая дно, поседевшая до голубизны столетняя липовая кадка окружила и взяла под защиту молодую нежную липку. Задумано было так, что пусть бы они всегда оставались вместе. Да и как уберешь эту кадку лет через пять, когда деревце подрастет и распустит крону.

Однако в жизни получилось все по-другому. Пьяный тракторист в темную ночь задел колесом кадку, и ей пришел конец.

Но все же, пока она была цела, я успел рассказать детям, что во времена моего детства именно эта кадка стояла у нас в пчельнике, полная свежего меда.

Пчеловодческая дедушкина избушка (пчельник, омшаник) находилась тут же, в саду. Точнее сказать, в сад выходила дверь пчельника, а само бревенчатое, пропитавшееся запахами воска и меда, сухое и как бы глуховатое помещеньице его покоилось внутри двора. Оно и лучше: никогда никакого ветра, не секут дожди, не обвещивает метель. Было бы бесполезно прорубать окошко в тёмноту двора, отсюда и получалась та некоторая глухота, которую всегда почувствуешь, когда войдешь, бывало, с вольного света в уютный пчельник, освещенный только тем, что открыта дверь.

Зимнего омшаника, то есть омшаника в зимнюю пору, я не помню. Там зимовали пчелы, и был он закрыт. До верхнего косяка низкой двери, до иконки с изображением святого Власия, покровителя пчел, наметало чистого снегу. Но летом и пустые рамки, висящие на стенах связками наподобие баранок, и плоские широкие ножи, и ароматные нежные листы искусственной вошины, отлипающие один от другого с легким потрескиванием, и невесомые мертвые пчелы — золотистый мусор, неизбежный во всяком пчельнике, и большие деревянные ложки, которыми ограбают летом привившийся на дереве рой, и много еще всякого пчеловодческого инвентаря — все это было, писало самые первые земные впечатления на чистых страницах начинающей перелистываться книги жизни.

Резче другого фокусируется в памяти дымарь.

Если даже он пуст и холоден, все равно душистая порция воздуха выталкивается, когда нажмешь на меха, из темного железного носика, края отверстия которого в бугорках нагара, черного, маслянистого.

Белые сухие гнилушки закладывают в дымарь, нажимают и отпускают желтые кожаные меха. Сначала только бесцветное сипенье вырывается из железного носика, да еще кое-какие мелкие крошки, пепел, оставшийся от прошлого раза. Потом возникает синеватая, но все еще почти бесцветная струя дыма. С каждым выдохом дымаря она становится синее, гуще, потом, когда примутся сами гнилушки, будет как густое зеленоватое молоко. Вылетая из дымаря под напором, она сначала прямая и быстрая, но от удара о воздух кудрявится, превращаясь в витиеватое облачко.

И вот отец давал мне в руки дымарь и вел к улью. Привыкнуть было нельзя. Каждый раз под ложечкой то противное и сосущее, что называется страхом.

— Руками не маши,— учил отец,— если пчела будет ползать по тебе — не тронь. Как тронешь, тут она и ужалит. А так — поползет и улетит. Ей ведь тоже умирать-то без толку не хочется.

Дымарь у меня в руках. Отец идет впереди. С каждым шагом сильнее холодит в груди. Но сделан последний шаг — и становится легче. Психология страха всегда и везде одинакова. Разве не становится легче, когда, например, осмелишься и прыгнешь в холодную воду?

Отец спокойно снимает крышку улья и кладет ее на траву. Обнажается плотная, пропитанная до клееночной гладкости пчелиным kleem материя. Отец приподымает угол этой материи, а я тотчас нацеливаю туда струю дыма. Но все равно навстречу дыму из-под материи, бурно, как вода из горшка во время кипения, клубком выпирают пчелы. Я дымлю и дымлю. Материя убрана совсем. Подней желтые рамки рядами и ворох копошащихся пчел. Отец вынимает рамку, поднимает ее, а клубок пчел, облепивших ее, стряхивает обратно в улей. Половина пчел падает и расползается по улью, но половина вздымается в воздух. По моим рукам ползают пчелы. Они щекотно ползают также по щекам и по шее, за ухом, по губе. Я не шевелюсь, я делаю, как меня учил отец. По его рукам тоже ползают пчелы, путаются у него в бороде и тогда надсадно жужжат. Это уже опасно. Это сигнал бедствия, тревога, призыв на помощь. Я вижу, как одна пчела изгибает брюшко и колет руку отца около синей вздувшейся жилы. Отец спокойно отрывает пчелу от руки, спокойно, туповатыми огрубелыми пальцами выдергивает жало с крохотным комочком оторвавшихся внутренностей пчелы. В тот же миг и мне обожгло запястье, потом шею. Я все еще креплюсь, не бросаю дымаря, не бегу.

— Рассердились,— говорит отец.— Ступай, теперь я один...

Подойти с дымарем к пчелиному улью — пустяк по сравнению с задачей спокойно от него отойти. Не убежать, вопя и размахивая руками, из зелено-солнечного сада, а неторопливо отступать в прохладную полутень двора...

Когда порушилась пасека, пчельник превратился в чулан для разного хлама, хотя продолжала валяться

там и кое-какая пчеловодческая утварь. Из посторонних, несообразных с пчеловодством предметов там доживал свой век старинный, прекрасный, как я теперь понимаю, граммофон, особенно если иметь в виду его красивую жостовскую трубу, не говоря уже о его, так сказать, мемориальной для меня ценности, ибо был привезен вместе с приданым Степаниды Ивановны из ее села Караваева.

Теперь я купил бы такой, да где его купишь, хотя бы и за любые деньги.

Думаю — куда могла подеваться труба? Исчезновение ее не отметилось в моей памяти ни одним штрихом. Она была черная, как бы лаковая, вся в красных, синих и зеленых цветах. Потом ее не стало. Куда она делась? Просто выбросили? Надо сначала измять, превратить ее роскошный цветастый раструб в нечто плоское, удобное для выбрасывания и исчезновения в культурном слое земли. Взяли соседи? Была бы цела и у них, было бы слышно, да и зачем она им без граммофона. Скорее всего ею воспользовался, употребив в дело, наш сельский кузнец Никита Кузов.

Но сам граммофон — полированный ящик (может быть, даже из красного дерева) с колонничками по углам, с диском (приkleено к диску тонкое зеленое сукно), с ручкой, вставляемой наискось в боковое отверстие и за что-то там зацепляющейся, после чего ее надо крутить со все увеличивающейся натугой, с никелированной трубкой, блестящими рычажками и стрелками,— этот граммофон служил мне совсем особую службу.

Установленный на пороге пчельника и нацеленный в сторону сада, он становился пулеметом, из которого можно было перекосить и перекроить любое войско. У него испортилось регулирующее устройство, и когда пружина заведена, диск начинал непроизвольно с нарастающей скоростью раскручиваться. Ничем не сдерживаемая скорость вращенья вызывала в конце концов вибрацию, крупную дрожь всего аппарата, граммофон подпрыгивал, колотился, а цепи белогвардейцев (белогвардейцев, а кого же еще!) все шли и шли, и я лихорадочно строчил в сторону дедушкиного сада, в сторону зеленых трав и желтых цветов, в сторону бывшей пасеки, в сторону мирного и доброго, но уже тронутого всеобщей гибелью рая.

Значит, кто-то уже успел (но когда и каким путем?) привнести в душу мальчика жажду кровопролития и убийства, и не просто убийства, но убийства массового, из пулемета, чтобы люди ложились рядами, грудами, и все мне было мало, все крутился взбесившийся, потерявший регулирующее устройство диск.

Беляки наступали, диск крутился, и не хватало уже одного дрожания аппарата, я еще помогал ему языком: тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та...

За каким плечом у меня тогда хихикали и ликовали, а за каким страдали и плакали?

## 6

Да, встретило меня на земле мирное и тихое созидание.

Когда состав сходит с рельс, он, если тяжел и скорость была велика, некоторое время летит по инер-

ции, по прямой, прежде чем начнет распадаться на части. И в летящем уже в бездну, в погибель составе, в каком-нибудь серединном вагоне, в течение некоторого времени может мирно спать на полке<sup>1</sup> дитя. Или играть, или сосать материнскую грудь. В поезде, сошедшем с рельсов, это дополнительное «благополучное» время исчисляется, вероятно, секундами; если же сходит с рельсов огромное государство, то его инерционный полет в пропасть может длиться, я думаю, годы, если не десятилетия.

Где-то там все уж произошло и совершилось, предопределилось на десятилетия вперед, но в маленьком селе, затерявшемся в зелени владимирского ополья, могла все еще струиться хрустальная речка в цветущих лугах, и плуг взрыхлял, переворачивал с боку на бок пласти суглинка, сдобренного навозом, и сельское стадо дремало на полднях, и скрипели телеги, нагруженные снопами, и кудахтали куры, и острые косы вились по росистой траве...

Но теперь, в этой главе, говоря о мирном созидании, я имею в виду не земледелие, которым занималась наша семья, хотя само по себе нет ничего прекраснее, чем посеять какое-нибудь семечко, зерно и вырастить из него что-нибудь необходимое и полезное людям.

Дело в том, что мой дедушка Алексей Дмитриевич держал два завода.

...Ну и ахнула вся аудитория, ну и гул пошел по рядам! А из общего гула, оттуда и отсюда; из разных углов и рядов прорезались не сочувствующие, нет, восторженно-виггливые реплики: «А я вам что говорил?», «А я вам что говорила!», «Цацкались, нянчились... Николая Второго на палец надел — простили. Церкви стал защищать — простили. Икону с себя по всем стенам навешал — простили. В Париже с эмигрантами якшался — простили. В Загорске с патриархом и другими попами якшался — простили. Действительность нашу, счастливую, светлую действительность нашу в рассказах, повестях и очерках критиковал — простили. Стихотворение «Волки» написал, казалось бы, теперь-то можно было понять — все простили. Думали — случайные ошибки, временные заблуждения, а вот оно и открылось!»

Действительно, важно было нашим поколениям на протяжении нескольких десятилетий в книгах про себя и про свое детство, в разных там автобиографиях выделить и подчеркнуть бедность социального происхождения, которая (бедность) приравнивалась почету к чистоте. «Чистая биография», «чистая анкета», «чистое прошлое». Чистота. Происходишь из крестьян-бедняков — хорошо. Из безлошадников (их было, наверно, по всей крестьянской России не более одного процента) — прекрасно. Из бескоровников — превосходно.

Но не противопоставляем ли мы в таком случае труд и чистоту как два враждебных, исключающих друг друга понятия? Ведь прежде чем завести (ку-

пить на любом базаре) лошадь, или корову, или племенного быка, или жеребца-производителя, прежде чем завести ветряк или водяную мельницу, кузницу или шорное дело, гнуть дуги или гнать деготь и колесную мазь, все-таки нужны были деньги. А откуда они взялись? Деньги — эквивалент труда, так нас учили в школе. А не в школе, так в институте. На лекциях по политэкономии. Можно предположить, что некоторые крестьяне, купившие лошадь, а то и двух, разводящие племенной скот, ставшие мельниками, сначала ограбили кого-нибудь на большой дороге или нашли клад. Но не все же! Не проще ли предположить, что где-то когда-то каким-то образом ими было затрачено большее количество труда, которое превратилось в большее количество денег<sup>1</sup>

Пытался ли кто-нибудь проследить, в силу каких дополнительных обстоятельств одно хозяйство начинало крепнуть и расцветать, а другое по-прежнему прозябало?

И не вступим ли мы, если будем говорить, что чем беднее, тем лучше и чище, в очевидное противоречие со здравым смыслом?

Безлошадники не могли бы вывести чистокровного орловского рысака, которым мы и теперь продолжаем гордиться и за которого и теперь получаем за границей чистое золото. Или владимирских битюгов. Безовечники не могли бы создать чистую породу романовской овцы. Бескоровники не могли бы создать сорта русского масла и вологодского масла, которыми бесконкурентно был завален мировой рынок. Горемыки и бедняки, безземельники и малоземельники не вывели бы такие чисто русские сорта яблок, как антоновка или грушовка московская, украинская симиренко или алматинский апорт, а также владимирскую вишню, климовский огурец, ростовский лук, нежинские огурчики, рязанскую капусту, кубанскую пшеницу, да мало ли...

Одни безлошадники и безземельники, горемыки и бедняки не смогли бы завалить мировой рынок русским овсом, русскими овчинами, русским воском, русским льном, русской икрой, русскими раками, русским фарфором и хрусталем, русским жемчугом («бурмистрово зерно»), русской эмалью, русским серебром, изделия из которого ценятся почему-то и по сей день в десятки раз дороже другого иностранного серебра. Знаменитая восемьдесят четвертая проба.

Одни безлошадники и бескоровники не могли бы, конечно, ни выигрывать войны, ни расширять пределы государства (пресловутая шестая часть земли), ни снаряжать кругосветные экспедиции. Они не могли бы обеспечить ни расцвета искусства, ни расцвета науки, ни сосредоточения в стране огромных материальных и духовных ценностей.

Может быть, чище и благороднее покупать яйца в Польше, кур во Франции, баранину в Аргентине, а пшеницу в Австралии, Канаде и США; может быть,

<sup>1</sup> Это не надо смешивать, разумеется, с деятельностью ростовщической, банкирской, паразитической, в которой невозможно же заподозрить десятки миллионов крепких, благополучных русских крестьянских хозяйств.

лучше продавать Рафаэлей, Рембрандтов и Тицианов, нежели собирать их, ломать драгоценные архитектурные сооружения в виде старинных храмов, нежели возводить; может быть, все это чище и лучше, но все-таки нужно признаться, что с одними безлошадниками и бескоровниками не было бы у России ни воинской славы, ни широких пределов, ни Менделеева, ни Павлова, ни Толстого, ни Гоголя, ни Пушкина, ни Чайковского, ни Третьяковской галереи, ни Эрмитажа, ни Петербурга и ни Москвы, ни всего того, что Россия сумела накопить и создать и остатки чего мы вот уже более чем полвека распыляем и все еще не можем до конца распылить.

Что касается денег как таковых, то все равно и теперь у одних их больше, а у других меньше. Недавно в Переделкине один писатель построил на своем дачном участке пинг-понговую, которая обошлась, говорят, в двадцать тысяч. Приблизительно тридцатилетняя прежняя зарплата колхозника в нашей стране. Я думаю, что оба дедушкиных предприятия, которыми я так напугал было аудиторию, не стоили этой пинг-понговой, при том, что, в отличие от нее, производили благородную и полезную продукцию.

Итак, у дедушки было два завода. Но немного успокою, успокою ошарашенных и ахнувших: пусть им не мерещится ни фабричных труб, ни задымленных цехов, ни гремящих станков, ни трансмиссий (на техническом уровне того времени), ни бухающих молотов, ни этого, как его... молоха. Один дедушкин завод представлял внешним видом и габаритами обыкновенную деревенскую баню, стоящую в огороде среди крапивы и лопухов, и только тропинка отделяла это строение от кустов смородины и малинника; от грядок с пупырчатыми огурцами и стеблистым крупносеменным укропом.

В медный котел, вмазанный в печку, наливали воды и высыпали из мешка в эту воду черную, легковесную по сравнению с водой труху старых пчелиных сотов. Не то чтобы вовсе труха и крошка, но все-таки все соты переломаны, перекрошены, невесомы и плавают.

Могу ошибиться, но чудится, как по мере нагревания котла поверхность легкого и плавающего крошка спекалась и сплавлялась, образуя темно-коричневую гористую корку с ярко-желтыми долинами или, если хотите, озерками.

Дрова все подкладывались и подкладывались в печь, поверхность содержимого в кotle начинала еще больше бугриться, всучиваться и наконец лопалась в каком-нибудь наиболее слабом месте, и кипящая вода вырывалась наверх, заливая бурлящей волной весь котел.

— Революция, революция! — кричал в это время мой старший брат Николай и тотчас получал от деда крепкий подзатыльник.

Долго ли, коротко ли кипело все это в кotle и какой была вся технология — не знаю. Теперь можно было бы где-нибудь вычитать или найти похожее производство и посмотреть, но надо ведь искать и искать. Избирательная память услужливо подсовывает мне черпак: старое ведро, насанженное на длинный

черенок. Этот черпак погружается в котел, а затем, окутанный белым паром, плывет по дуге. Тут я отскакивал подальше, потому что могло плюнуться. В четком фокусе вижу, как содержимое черпака — жидккая черная кашица — льется в деревянную колоду, вернее, в прямоугольное углубление, вырубленное в толстом бревне и выложенное внутри слоем чистой, длинной соломы. Солому заворачивали, как бы пеленали в нее налитое, и прижимали все это сверху плоской, тяжелой плахой. На плаху начинали давить. Не руками, не ногами, конечно, но при помощи механизма, пресса. Был винт гораздо толще оглобли, установленный вертикально над колодой, и была похожая на бочонок гайка, которая, если ее вращать, могла двигаться по винту вверх и вниз. В гайке-бочонке — гнезда, в них вставлялись два кола — уже форменные оглобли. Два человека (дедушка и отец, отец и мой брат) ходили по кругу, двигая колья и тем самым поворачивая гайку. Она опускалась, давила на плаху, плаха давила на солому и на кашу, завернутую в нее, в нужное отверстие вытекала от давления профильированная соломой горячая черная струя.

Я в это время тоже бегал по кругу, держась за кол и как бы помогая, но чтобы достать до кола, ручонки приходилось поднимать вверху. И было там три-четыре холостых безнатужных витка, пока пресс еще не начал давить, не прикоснулся к плахе, тогда эти колья на легком холостом ходу вертелись быстро как карусель, из-за которой я, может быть, и помню те дубовые колья явственно, со всеми изгибами, гладкими шишками и недоочищенной корой в двух местах, тоже засаленной и отполированной.

Отжатая прессом солома, когда ее вываливали из колоды и отбрасывали в сторону, исходила горячим паром. Она была после пресса похожа на маленький детский матрасик.

Струйка из-под пресса стекала в другой медный котел, налитый на треть холодной чистой водой. Жидкость текла черная, по-своему тоже чистая. Точно так же, как раньше, в начале процесса, плавало в печном кotle легкое сухое крошево, но теперь здесь всплывало на поверхность воды и накапливалось то, ради чего и содержался « завод ». Наравне с волшебством было окунуть в горячую, но, значит, уже терпимую для кожи черноту палец и скорее вытащить его, мгновенно одетый в ярко-светло-желтый наперсток. Превращение черноты в желтизну, ощущения самого пальца, вдруг крепко обжатого горячим веществом, были необыкновенны среди других земных впечатлений. А брат Виктор, постарше, да и поозорнее, побойчее меня, однажды на моих глазах окунул всю кисть руки по запястье, и получилась желтая восковая перчатка. Ну, правда, снять ее с руки было нельзя, только что облупить. Да, вот еще вспоминаю: чтобы наперсток снимался с пальца, надо было окунуть его сначала в холодную воду, а потом уж в горячий воск.

Черная жидкость в кotle остывала и тоже желтела постепенно, превращаясь в каравай чистого воска. Благодаря воде каравай легко вынимался из котла, с его верхней стороны острый скребком соскабливался

тонкий слой коричневатой пузырчатой накипи, и тогда каравай клали на весы.

Следя за скребком, можно было видеть длинную завивающуюся стружку, ломающуюся время от времени, а также глянцевитую восковую поверхность со следами скребка. Чем плотнее эта поверхность, чем меньше в ней зеленоватых воздушных пузырьков, тем лучше воск, тем удачнее, значит, плавка.

Большой гнутий гвоздь в руках отца чертил на каравае цифры и буквы, скажем, 2 пуд. 4 фун. Да, два пуда четыре фунта готовой продукции.

Когда накапливалось несколько караваев, отец укладывал их на телегу, прикрывал сверху сеном, клевером или свежей травой и увозил во Владимир.

Когда он возвращался, телега была нагружена большими рогожными кулями с «сырем», с вощиною, с пустыми пчелиными сотами, освобожденными от меда путем центробежной выкачки или выпотки в печах, а теперь переломанными, искрошившимися. Вощину высypали в угол сарая, примыкавшего к воскобойне, и она лежала там бурым ворохом, источая несильный, но явственный аромат. Когда ворох кончался, под ним на полу сарая оказывалось множество разных мелких предметов. Каждая партия вощины сулила новые находки, а как они попадали туда, неизвестно. Стеклянная пробка и медная дверная ручка, гвозди и пуговицы, бляхи от сбруи и бубенцы, а однажды попался даже настоящий револьвер с барабаном и с патронами в нем, но не наган, как я теперь понимаю, а какая-то допотопная модель. Больше всего (и в конце концов это было интереснее всего) мы находили мелочи, серебряных и медных монеток. К тому же надо иметь в виду, что двугривенный тогда был еще двугривенным и действительно серебряным, а не пустой железкой.

Где брал эту вощину, отец, я не знаю. Не думаю, чтобы скупал по селам и деревням у пасечников. Проще предположить, что имелся во Владимире, как теперь сказали бы, пункт по приему этой вощины от населения, который был связан с такими вот кустарями, как мой дед и отец. Могло быть и так, что давали отцу вощину, а брали у него чистый воск, выплачивая разницу в стоимости уже деньгами.

Но это только предположение. Не исключается, что в то время можно было купить три куля вощины на базаре с такой же простотой, как три куля березовых углей, куль воблы, лошадь, телегу, тарантас, сани, саночки, дугу, кровельное железо, тес, доски, кирпич, дранку, овес, льяное масло, выделанные овчины, луб и рогожу, шорные изделия, сыромуятину, деготь, веревку, паклю и мох, овечью шерсть и коровью выделанную кожу, хром и холст, столярный клей, олифу и воск...

Очень трогательны были заботы деда и строгость его, когда он заставлял нас во время чаепития с медом обсосанные и обкатанные во рту, обмятые зубами катышки воска не выплевывать как попало и не бросать, но аккуратно складывать на чайное блюдце, в кучку. Много ли их там наберется, но и они присоединялись к вороху вощины, бросались в котел, шли на перетопку, превращались в несколько граммов продукции.

Воск, произведенный на нашей воскобойне, шел, наверное, на церковные свечи, жарко пылавшие потом во время литургий и всенощных бдений, а также главным образом в полупрозрачные, разлипающиеся с легким треском листы «искусственной вощины», столь необходимые каждому пасечнику. Искусственной эта вощина называлась не потому, что была каким-нибудь там заменителем, эрзацем и пластиком, а потому, что часть работы за пчел была уже искусственно проделана: шестигранные сотовые ячейки были намечены, оттиснуты на листы вощины, пчелам уже оставалось только вытягивать и наращивать эти ячейки, наполнять их медом и запечатывать.

Воск топили в теплое время года, поэтому — кроме неожиданных находок в вощине, вроде серебряных монеток, желтых караваев воска, пузатых гирь, окутанной душистым паром соломы, кипящего с вощиною котла, желтых, обжимающих, горячих наперстков на пальце — воскобойня сочетается у меня с сиянием летнего солнца, с синевой небес и прохладой травы.

Последнее, что надо бы вспомнить, — среди травы под синими небесами лежали два коротких бревна, в попечнике не с мой ли тогдашний рост. Значит, предполагалось расширенное воспроизводство: эти бревна могли быть припасены только на новые колоды для воскобойни. Но они так и листрахлявали в траве, пока, уже полусгнившие, не были потом распилены и расколоты на дрова. Ведь поезд давно уж сошел с рельсов, и жизнь продолжалась единственно по инерции, но и сама инерция была на последнем вздроге...

На воскобойне единственным рабочим, кроме самого деда, был мой отец. Подраставшие сыновья, Николай и Виктор, помогали ему, а я только мешался и путался под ногами. Да ведь и работать-то приходилось между делом, в неурочное время, после боронованья и сеяния, покоса и жнивия, возки снопов и молотьбы, пахоты и копанья картошки.

Второе предприятие деда тоже было сезонным, весенне-летне-осеним, и на нем никак не обойтись было своими руками. Первое дело — нужен мастер, специалист, во-вторых, просто не хватило бы рук, и поэтому, кроме постоянного мастера Ондрея Иваныча (не могу отказаться от транскрипции детства), каждое лето нанимали еще двух помощников мастеру, которые возили тачками по дощатым узким дорожкам песок и глину. Готовый сырой кирпич и готовый обожженный кирпич укладывали под драночными шатровыми навесами.

Да, вот еще очень важная деталь для анкеты — наемный труд. Так внушили, так заморочили голову, что и правда стало казаться едва ли не преступлением — нанять людей для какой-либо работы. Но ведь это же самая естественная акция на протяжении всей истории человечества. Разве до сих пор не нанимают наши сельские жители, скажем, пастуха на весь сезон? Недавно вон соседка Ксения Ивановна наняла мужиков, и они вычистили и починили ей колодец. Да, но присвоение чужого труда, прибавочная стоимость... А разве теперь, с переходом в колхозах на денежную

оплату, все эти трактористы, комбайнеры, механизаторы, доярки, все рабочие, разве они — не наемный труд? И разве государство, нанимая рабочих, соразмеряет количество труда с заработной платой? Разве государство не присваивает себе в огромнейших масштабах всю так называемую прибавочную стоимость? Для того государство и боролось с мелкими «эксплуататорами», чтобы стать единственным огромным эксплуататором.

Кирпич в человеческой цивилизации все равно как растительная или животная клетка в природе. Природа, как известно, не терпит однообразия и стандарта, но все ее умопомрачительное разнообразие основано на более или менее стандартном исходном материале — на клетке.

Точно так же — что может быть стандартнее и тупее обычного кирпича? Но возникают на земле разнообразные храмы и дворцы, церковные ограды и каланчи, фабричные корпуса и часовенки, жилые дома и вокзалы. Сооружения то пластаются по земле, то струятся ввысь, то повисают в воздухе, легкие и веселые, как цветы, то нависают мрачными глыбами, и все это сделано из маленьких, более или менее одинаковых кирпичей.

Вспоминаю разговор о кирпиче с одним из очередных председателей колхоза в нашем селе. Председатель этот лелеял мечту разрушить церковь, стоящую посередине села.

— Какой кор-ровник из этого кирпича отрохать можно! Еще и на свинарник останется, хотя бы на столбы. Эх!..

— Но вы прикиньте, — уверял я, — намного ли получится дешевле. Ведь разобрать церковь — тоже денег стоит. Не проще ли привезти готовый кирпич?

— Где же его возьмешь?

— Кирпич?

— Ну да. В Ставрове был кирпичный завод — закрыли... Да и все равно их кирпич никуда не годился. Под дождем размокает — разве это кирпич?! Весь искореженный, горбатый какой-то, а об коленку ударишь, разваливается на куски. А то слоями пойдет, как все равно пирог. А бывалошный-то, я знаю, кувалдой не разобьешь. Кремень, хоть огонь высекай. И был он дешевле леса: глина да вода. Ну, песок еще. Я вижу, в вашей стороне (председатель этот, как и все его предшественники и преемники впоследствии, был прислан откуда-то из города) любили кирпичные-то дома. Возьмите Ставрово, Ярмонино, Рождествено, Ельтесуново, Черкутино — сколько там кирпичных домов! И стоят до сих пор, ничего им не делается.

— Около Ундола как будто есть кирпичный завод?

— Дерьмо. Немного разве получше ставровского. И потом едут туда все колхозы района. Неделю в очереди простояшь. Вот за Владимиром, правда, завод силикатного кирпича. Серый такой кирпич, наверно, знаете. Теперь все дома серые.

— Неужели за кирпичом во Владимир и даже за Владимир ездить?

— Вот я и говорю — церковь бы разобрать...

— На Украине или где-нибудь в северном Ка-

захстане, если захотят в деревне дом сложить, строительный материал заготавливают на месте. Правда, не кирпич, а саман. Но тоже нужно и месить, и лепить, и сушить. Я думаю даже, что саманный кирпич делать труднее, чем обычный из глины.

— Это вы к чему?..

— К тому, что разве не мог бы колхоз наладить свое кирпичное производство? Сначала на свои нужды, потом — чтобы оправдать расходы, а потом... Потом и прибыль, думаю, — не беда.

— Какая беда! Очень даже бы хорошо.

— В чем же дело?

— Не знаю, только не встречал я нигде ни одного колхозного кирпичного завода. Может, где-нибудь и есть, а в наших местах — не встречал.

— А знаете ли вы, что в Алепине еще сравнительно недавно был свой кирпичный завод?

— Мало ли что было недавно, — без воодушевления встретил мое сообщение председатель,- вон, рассказывают, недавно на Колокше — а велика ли река,— двенадцать мельниц вертелось. Каскад! А теперь, если понадобится мешок муки намолоть,— ни одной мельницы, кроме как в областном центре... так неужели в Алепине был свой кирпичный завод? Где же стоял?

— Как пойдешь через Глафириин прогон к реке, как усадьбы кончатся, а гора еще не началась, ну... сразу за теперешней школой, полевее ее, за двухквартирным финским домом... Раньше ведь там ни школы, ни дома этого, ничего не было... Ну и знаете, наверное, там такая обширная яма вроде карьера, только неглубокого, метра полтора глубиной... и все теперь уж зеленою травкой заросло... даже и не заметишь... Подумаешь — почему-то земля немного просела, а это и был завод.

Запах воска и запах свежей размешанной глины — вот два запаха, которые явственно вплетаются в запахи моего детства: соломы, меда, малины, печного дымка (пока несут через кухню головешку, чтобы выбросить ее на снег, начадит на весь дом), разводимого самовара (опять же — чадок), парного молока, лошади (вообще двора), жасмина и сирени (росли перед домом), ночной фиалки и ландышей (любили сестры и держали у себя в девичьей), горячей лепешки, теплых хлебов, постного (льняного) масла, ржаного зерна, нафталина (играя в прятки, забирались в обширный гардероб и сидели там среди висящих одежд), овчины, яблок, дымаря, лесной теплинки, земляники, молодых маслянок, летнего дождя (запах, в сущности, земли и крапивы), керосина (в лампах)... да мало ли!

Острый заступ под давлением ноги в сапоге легко входил в землю и отваливал пласт. Глина отрезалась жирными, лоснящимися ломтями. Удивительно, что не выступали на срезе прозрачные капли, как это бывает, если разрезать свежий и жирный сыр; глина была темно-красная, яркая, тяжелая и прохладная, если приложить свежим срезом к щеке.

По дощатой дорожке (в ширину одной доски) глину в тачке везли к большому, но мелкому деревянному ящику, где и размещивали вместе с чистым речным песком, поливая водой. Вода держалась в маленьком прудике, который наполнялся с весны, кое-как

подкреплялся летом дождями, а к осени едва ли не пересыхал. Впрочем, тут опять начинались дожди. Не пересыхать в летнюю жару ему помогали дремучая старая ветла, распространявшая над водой свою непроницаемую для солнца корону. Тени от ветлы хватало, чтобы накрыть весь прудик. С весны он кишел головастиками, а летом, естественно, лягушками. (Теперь эта владинка заполняется водой во время таяния снега, но очень быстро пересыхает, потому что ветлы уже нет.) Возможно, углубляли ее каждый год, хоть немного, поддерживали: без воды не сделаешь кирпича.

Ондрей Иваныч работал. Сам весь в глине (к черной бороде пристали яркие красные комочки), и станок у него — весь в глине! Немудреный станок, похожий на обыкновенный стол, а принцип работы... По такому же принципу действовали мороженщицы до войны: положит вафлю на дно мелкого цилиндра, наполнит цилиндр мороженым, сверху еще одну вафлю, потом нажмет на стержень, и мороженое поднимается, как бы высакивает из своего гнезда — бери и ешь.

Только здесь углубление в станке было не круглое, а прямоугольное, по размерам будущего кирпича. Вместо вафли Ондрей Иваныч клал на дно углубления тонкую, но прочную железку, тоже по размеру кирпича, на железку набивал в гнездо глину нужного замеса, а потом сверху уберет лишнюю глину, пригладит ее деревянной гладилкой, нажмет ногой на педаль — и кирпич вместе с железкой поднимается из гнезда. Тогда Ондрей Иваныч его снимает и бережно поставит на ребро на ровную доску. Кирпич сделан. Остается ему обвязнуть в тени под навесом, на легком продувном ветерке, а уж потом закалиться, обжечься в специальной печи.

Пока кирпич просыхает на ветерке, можно подкрасться, изловчиться и отпечатать на нем свою ладошку. Где, в каких селеньях, в каких домах, в фундаментах этих домов или печных трубах сохранился хоть один отпечаток моей ладошки?

Обжигную печь растопляли не часто, может быть, два или три раза за лето: пока там Ондрей Иваныч наделает необходимое количество кирпичей, чтобы зарядить печь. Помещалось в нее... не знаю, сколько, и спросить теперь не у кого, но полагаю, что несколько тысяч штук. Впрочем, кирпич считали и продавали на сотни. Говорили: «пятнадцать сот», а не полторы тысячи. Ондрей Иваныч залезал внутрь печи, ему подавали туда сырье кирпичи, и он их укладывал там нужным образом, постепенно заполняя все обширное пространство печи. Снаружи печь напоминала небольшой дом, вернее сказать, амбар. Она была покрыта конусной крышей из дранки, но самый верх конуса оставался открытым, а над этим отверстием как бы висел конус поменьше, в виде колпака, что ли. Дым, выходя из отверстия, накапливался, клубился над колпачком и выползал из-под его краев на все четыре стороны. Внизу печь имела несколько низких сводчатых топок, которые набивали сухими дровами. Все волновались, хлопотали около печки — и Ондрей Иваныч, и дед, и отец: как видно, обжиг кирпича был важной операцией, он мог быть удачным или менее удачным, от

него зависело, как теперь сказали бы, качество готовой продукции.

Готовую продукцию — обожженный крепкий, звонкий кирпич — складывали в штабеля под длинный двухскатный навес на коротких столбах, покрытый дранкой. Потемневшая от времени дранка отсвечивала на солнце или мерцала под ясной луной, как хорошее старинное серебро.

Зеленая трава с прозолотой одуванчиков, яркая краснота глины и кирпичей и темное серебро деревянных строений — вот цветовая гамма того места в те времена. Да еще сверкающее зеркальце пруда, да еще цыганисто-черная борода Ондрея Иваныча.

Не знаю, что за отношения существовали между кирпичным мастером Ондреем Иванычем, нашим же алепинским мужиком, но только научившимся кирпично му делу, — и моим дедом, хозяином завода, предпринимателем. Какова была плата за труд? Каков был рабочий день? Какова была стоимость готовой продукции? Какова была производительность завода? Какова была чистая прибыль?

Знаю только, что Алексей Дмитриевич в последние годы жизни (он умер в 1933 году), когда завод уж, естественно, не работал, каждый зимний вечер просиживал у Ондрея Иваныча. Напьется чаю, наденет поддевку, возьмет палку и побредет. «Посижу у Ондрея Иваныча», — сообщал он домашним и засиживался там допоздна. Дед был очень религиозен, ни о каких там шашках или картишках речи быть не могло. Значит, только в неторопливых беседах проводили долгие зимние вечера два старика, два антагониста, два непримиримых классовых врага — предприниматель Алексей Митрич и наемный мастер Ондрей Иваныч. На какие темы была беседа? Думаю, что оба вспоминали кирпичный завод.

Заводишка умер как-то сразу. Наверху где-то там завернули кран, и пульсация жизни тотчас прекратилась. Хотя долго еще стояли длинный навес для хранения кирпича и конусовидная, колпаковидная крыша над обжигальной печью. Все это отшло колхозу, но ни одного кирпича уже произведено не было. Оставшийся кирпич лежал под навесом и странно, что вовсе не продавался. Наверное, никто в то время не думал о том, чтобы построить что-нибудь такое из кирпича. Ведь кран завернулся не только для кирпичного ли, воскобойного ли заводика, но для полноценной, пульсирующей жизни вообще.

Но все же с годами кирпич под навесом стал потихоньку убывать (на ремонт печей, надо думать), пока не остались одни обломки, щебень, кирпичное крошево.

Исчезла ветла над прудиком, пересох окончательно и сам прудик. Расточились как-то сами собой деревянные строения. Все тут словно таяло, растворялось в синеве деревенского воздуха. В конце концов все растаяло и растворилось до такой степени, что не осталось ни гнилой дранки, ни ржавого гвоздя, ни кирпичного обломка. Только яма, где была обжигная печь, да общая пространная выемка в земле (но все это уже в зелени мелкой и плотной травки) обозначают до сих пор место, где умелые руки Ондрея Иваныча лепили креп-

кий и звонкий, десятифунтовый российский кирпич ради возведения церквей и колоколен, кладбищенских оград и амбаров, крестьянских домов и часовенок, фундаментов под деревянные избы и русских печей.

Но было у времени, проглотившего дедовский кирпичный завод, две отрыжки.

Однажды, приехав домой на студенческие каникулы, я застал своего отца Алексея Алексеевича, пожилого, выходящего уж из возраста колхозника, за странным занятием. Разложив по всему столу, он разглядывал многочисленные чертежи — синьки. Картина показалась мне весьма забавной. Я, окончивший в свое время механический техникум, знал, что такое чертеж и что значит «читать чертеж». Я понимал, что отец читать чертежи не умеет, как я не умею, скажем, читать арабскую вязь.

Загадка быстро разъяснилась. В то время по всей стране поднималась (вернее сказать, спустилась на всю страну) кампания по строительству агрогородов. Вздорная идея, которой на некоторое время Хрущев сумел увлечь Сталина. Возникла потребность в кирпиче. В колхозы были разосланы типовые проекты маленьких, оперативных кирпичных заводов.

В нашем колхозе вспомнили вдруг, что Алексей Алексеевич должен знать хоть что-нибудь про кирпичное дело. Ему поручили возглавить строительство нового завода.

Не знаю, что вычитал отец в чертежах, наяву же появились (только не на прежнем месте, а в одном глинистом овраге) точно такие же два навеса, какие стояли и раньше. Не думаю, чтобы они перешли на местность с чертежей, скорее всего из памяти Алексея Алексеевича.

До строительства печи дело не дошло, а тем более до самого кирпича. Идея агрогородов была забракована и отменена. Навесы, как и в первом случае, некоторое время разнообразили пейзаж, но постепенно исчезли так же бесследно, как и их предшественники, с той лишь разницей, чтоостояли на земле вхолостую. Из-под их сухой и прохладной сени не вышло в свет ни одного кирпича.

Второй всплеск произошел совсем уж недавно. Каким-то образом где-то наверху стало известно, что Алепино стоит на прекрасной глине. Тотчас приехала в село бурильная установка, и геологи-разведчики стали то тут, то там вокруг села по буграм и овражным скатам брать пробы, изучать нашу землю. И хотя уже давно полное, холодное, мертвое равнодушие владеет сердцами и душами алепинцев и что бы ни делали с их землей, как бы ни портили и ни терзали ее еще больше, соскребая зелень бульдозерами, размешивая ровные луговины гусеницами тракторов, уродуя склоны оврагов и опушки лесов гнилостными картофельными буртами, захламляя леса, допуская, чтобы все луга закочковывались и заболачивались, хотя на все уже смотрят в Алепине (как и во всех остальных российских деревнях) с жутким мертвым равнодушием — все же некоторые алепинские жители сокрушались: теперь — все. Будет вокруг нас один сплошной карьер. Вишь, глина наша понравилась. Конец Алепину. Конец нашим буграм и оврагам. Всю землю обдерут и разроют.

Заключение разведки было приблизительно следующим. Да, глина прекрасная, но слой ее тонок, запасы невелики. Конечно, какому-нибудь кустарю с одним застапом хватило бы и на двести лет, но при государственных масштабах разработки запасы глины иссякнут очень быстро и, значит, начинать эти разработки не имеет смысла.

После этого геологи напились и тронулись с места в сторону города. Но их попытка покинуть наши пределы увенчалась успехом не полностью. Бурильная установка, ведомая пьяным шофером, сковырнулась в кювет, опрокинулась и довольно долго потом лежала на боку возле Шунова, вызывая у местных жителей вздохи облегчения: миновала беда, не понадобилась государству наша алепинская глина...

## 7

В конце августа солнечная позолота, лежащая на полях, лугах, перелесках, не слепит глаза, не дышит зноем, но мягка и приятна.

Облака особенно выпуклы, округлы и так белы, словно дополнительно освещены изнутри. Покос закончен давным-давно, рожь убрана с полей, горохи тоже, только овсы да гречка ждут еще своего часа, а пока что приманивают готовящиеся к дальним перелетам, усиленно кормящиеся перед дальней дорогой журавлиные стаи.

Накануне вечером отец брал ведерко с колесной мазью и возился около телеги, надо было подважить по очереди каждый ее угол, чтобы колесо отделилось от земли и, став беспомощным, свободно поворачивалось от движенья руки. Легким ударом (обушком топора) выколачивалась из черной, пропитанной мазью оси железная, квадратного сеченья чека. Отцовские руки, ухватив за обод и покачав справа налево, как если бы собираясь рулить, стягивали колесо с оси и клади в сторону, на траву. Плоской деревянной лопаточкой поддевалась в ведре густая, черная (но при тонком слое коричневая) колесная мазь. Отец ровно со всех сторон обмазывал этой мазью ось телеги, а потом на эту жирную смазку опять надвигал тяжелое колесо. Вставлял чеку. Опускал этот угол телеги и начинал (при помощи дуги и слеги) подваживать другой угол.

Как собачонка, почуяв, что хозяин собирается на прогулку, ликует и нетерпеливо вертится в ногах и даже поскучивает от предвкушения, так, возможно, и я, четырехлетний, вертесся около отца и вокруг телеги. Да и помимо предчувствия, помимо очевидных сбров в дорогу, известно в доме и все об этом говорят, что завтра Успеньев день и мы поедем в Караваево, в гости.

Волосенки мне матерь расчешет, штанишки наденут новые; до колен. Носки и сандалии. Рубашка белая, с напуском. В нижний обрез рубашки продета резинка, и рубашка напущена на штаны. На голове беленькая панамка, а на шее из-под воротника рубашки — бордовый бант. В таком виде я и запечатлен на сохранившейся «караваевской» фотографии. Рядом сестра Мару-

ся, девчонка тоже еще, лет десяти. Она старше меня на шесть лет. Следовательно, мне — четыре. У нее в руках цветы, золотые шары, а у меня лошадка на четырех колесиках, купленная тут же, на ярмарке. Огорчение в том, что рубашка была белая и лошадка белая, и вот — игрушка на карточке не вышла. Это огорчение от первого тогдашнего взгляда на фотографию я хорошо помню. Вернее, даже удивление: как же так? Была же лошадка, красивая новая игрушка...

Остальные обстоятельства фотографирования исчезли из памяти.

Еще три-четыре фрагмента, сохранившиеся от поездки в Караваево. Вот эти золотые шары. У нас в Алепине их почему-то не разводили, а там — палисадник, как единый огромный букет. Причем самого дома, около которого цвел палисадник, ни единой штрихом не помню. Ни крыльца, ни окна, ни ворот...

Смутный лик бородатого деда Ивана Михайловича, отца моей матери Степаниды Ивановны, видится в коричневых тонах. Так что, возможно, тут более позднее влияние живописного портрета (маслом), который уже в тридцатые годы, когда нарушался караваевский дом, был привезен с кое-каким скарбом в Алепино.

В густых и синих сумерках памяти покато льется по широкому дощатому лотку гладкая, как стекло, вода. Медленно поворачивается, все в струйках воды и в зеленых волосьях водорослей, деревянное мельничное колесо.

Сама река, сама мельница остались где-то вокруг этого лотка и колеса, в темноте, не попали, так сказать, в объектив, в кадр.

Строго говоря, есть один только кадр, оказавшийся точно в фокусе, прекрасно высвечененный и остановленный памятью с оптимальной выдержкой. Он остается как бы даже символом того праздника, того Караваева, той ярмарки, той нашей поездки. Кадр этот — новое белое решето, полное золотого, крупного, полупрозрачного винограда.

Виноград, несомненно, куплен на ярмарке. Предполагаю, что его продавали расфасованным в решета и вместе с решетами. Так и было: купить не фунт и не десять фунтов, но решето винограда. Не вешать его, не перекладывать лишний раз, не мясть. Сами решета были, наверное, очень дешевые, да если и стоили сколько-нибудь, так ведь всегда в хозяйстве пригодится новое решето.

Дорога до Караваева, если не отдельными штрихами, то цельным впечатлением, смотрится ярче и протяженнее.

Двадцать верст на скрипучей телеге, влекомой неторопливым Голубчиком (понукаемым еще более неторопливым Алексеем Алексеевичем — моим отцом), длились не меньше пяти часов.

Пять часов медленно двигался мимо нас по обе стороны телеги (но и сверху, и вообще вокруг) золотой с зеленым и голубой с белым август. В обобщенном виде — синие холмы, беленькие колоколенки там и сям, темные острова перелесков, желтые плоскости опустевших уже полей и горизонт, горизонт со всех сторон — круглая, немного вогнутая чаша земного приволья.

Плыви, плыви, родное приволье, плыви через глаза четырехлетнего белоголового мальчика, наполняй и насыщай душу так, чтобы хватило потом на всю остальную жизнь.

В обобщенном виде — синие холмы да белые церковки, а на первом плане, в фокусе, в резкости, мягкий клевер на телеге, на котором сидишь, желтые кисти рябинника около самой колеи, так что если спустишь ноги с телеги, то рябинник и стебли других трав будут за них задевать, и обязательно останутся потом на коже около коленок черные пятна колесной мази: задевали за траву осями прежде нас ездили тут телеги.

Так трудно стереть такое пятно и даже больно, потому что мазь склеила собой какие-никакие волосики, пушок на ноге.

У лошади на мощных, то напрягающихся, то ослабевающих коричневых ляжках при каждом шаге обозначаются этакие вилы-двошки, углубленные линии-ветви, образованные анатомией двигающихся под кожей крупных мышц.

И вот иногда отец, первым выглядев что-то на поле, высоко взмахивал кнутом, и вдруг там, вдали, доселе сливавшиеся с полем и невидимые для детского неопытного глаза, возникали большие серые птицы. Они не поднимались высоко и не выстраивались, конечно, в знаменитый журавлинный клин, но просто рассыпанной стаей, едва ли не чертя крыльями по метелкам овса, отлетали чуть-чуть подальше и, выпуская из себя длинные голенастые ноги, снова садились на поле. И долго еще я различал их настороженные головы над овсом.

Но почему Успеньев день и почему Караваево?

Успеньев день потому, что в Караваеве в этот день престольный праздник и ярмарка, а мы там потому, что Степанида Ивановна взята из этого села, и наш отец, Алексей Алексеевич, едет в гости к теще и к тестю.

Тесть, Иван Михайлович Чебуров, широкобородый старик (видящийся мне сквозь толщу времени в коричневых тонах старого портрета), держал в Караваеве на реке Пекше мельницу. У него было четверо сыновей и две дочери. Одна из них — Стеша.

Алексей Алексеевич Солоухин был женат сначала на Татьяне, но она очень рано умерла, оставив двоих детей: Костю и Шуру. Мои старшие (но не единоутробные) брат и сестра.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах двадцатисемилетний вдовец приглядел Стешу. Может быть, ездил на мельницу и увидел. Может быть, на такой же вот успенской ярмарке. Но заслали сватов. Широкобородый мельник (кстати сказать, ослепший к этому времени) лежал на печке и, не слезая с нее, но прислушиваясь к чужим голосам, спросил, что происходит в доме.

— Да вот — сваты... Откуда-то из Алепина, мы и не слышали...

— Кто такие?

— Какие-то Солоухины.

— Я слышал. Надежные люди. Отдавайте.

Стеше в это время было семнадцать лет.

От матери-то я и знаю о Караваеве больше, не-

жели фрагментарно осталось после ранней поездки туда в Успеньев день.

Большое и богатое торговое село на высоком берегу светлой и рыбной реки Пекши. За рекой яркие заливные луга. В этих лугах, собирая цветы, Стеша, будучи еще девушкой, нашла среди диких луговых трав два белоснежных нарцисса. Залетели откуда-то из другого мира.

Село на высоком берегу венчали две красивые белые церкви и колокольня. На Троицу парни и девушки водили вечером хороводы. До трехсот человек. Девушки все в длинных белых платьях, в венках из васильков и купальниц. Можно себе представить. Пекша кишила рыбой. Мужики, бродившие с бреднем, однажды принесли мельнику (продать или в подарок?) щуку, которая едва уложилась от края до края на круглый стол в гостиной чебуровского дома.

Алепинские Солоухины были черноволосые, худощавые, прямоносые.

Караваевские Чебуровы<sup>1</sup> были светло-русые, широконосые, круглицы, склонные к полноте.

По Бунину, Русь была черная и белая. Боярыня Морозова, Наташа Ростова, Татьяна Ларина — с одной стороны. Ольга Ларина, Шаляпин, Есенин — с другой.

В нашей семье эти две Руси перемешались, слились. Но все же и та и другая — Русь...

Осуществляя свое пешеходное путешествие по владимирским проселкам в 1956 году, я зашел и в село Караваево. Но тогда личные мотивы в конструкции книги мне показались излишними, и на страницах «Владимирских проселков» на них нет даже намека. А между тем я и ночевал в селе Караваеве, и ходил на место чебуровского дома, мельницы...

Закономерность одна: маленькие деревни дольше сохраняли свой опрятный, уютный дореволюционный и доколхозный вид. Большие села с бывшими церквами, торговыми лавками, чайными и трактирами, двухэтажными домами, яблоневыми садами все несут на себе печать разорения, запущенности, бесхозности. Чем больше и богаче, красивее и чище было село, тем явственнее на нем лежит эта печать<sup>2</sup>. Не миновала чаша сия и села Караваева.

Я ночевал, помнится, в небольшой избе у одиночной пожилой женщины, которая целый вечер рассказывала мне про Караваево: какое это было зеленое, чистое, многолюдное село, и какие покосы бывали за Пекшей, и сколько рыбы водилось в реке, и какие красивые были церкви, и какие ярмарки шумели в Успеньев день.

— А вот я слышал, были тут какие-то Чебуровы...

— А как же! Мельница на Пекше была. Вот если завтра пойдете, можете углядеть, где раньше плотина

<sup>1</sup> Строго говоря, фамилия караваевского деда была Елагин. Но вот в тихом, захолустном городке Покрове, к которому тяготело Караваево, славился лихой извозчик Чебуров. А дед, Иван Михайлович Елагин, умел очень споро работать. Несколько раз ему сказали: «Ну, брат, ты и работаешь! Чистый Чебуров!» Эта кличка пристала, а потом даже, как ни странно, стала фамилией деда, а следовательно, и девичьей фамилией моей матери.

<sup>2</sup> То, что сейчас маленькие деревни все исчезают с лица земли и запахиваются, а большие села еще продолжают кое-как существовать, не противоречит этой закономерности.

стояла. Ничего уж не осталось, но где плотина стояла, углядеть можно. Хорошая была мельница и реку поддерживала.

— А дом?

— Там же, на возвышении, на просторном месте стоял, на отшибе от села. Большой и хороший был дом.

— Что же, вы и самих Чебуровых помните?

— Помню. Иван Михайлович давно, загодя еще умер. Правда, все равно уж слепой был.

— Что значит — загодя?

— Ну... до коллективизации еще. А Василиса... вот уж не знаю. У них ведь дочка Стеша в Олепино была выдана. Василиса, пожалуй, у нее в Олепине доживала. Здесь разорилось все — ни дома, ни мельницы, а как уж у них в Олепине там, сказать не могу...

...Золотых шаров не было ни в одном палисаднике (хотя бы и не цветущих пока по времени года), как, впрочем, и самих палисадников, винограда в решетах — тоже. Я походил взад-вперед по обшарпанному, полуразоренному селу, подошел к церквам. В одной из них был устроен по первоначальному рвению паточный завод, приделана к белой стене черная железная труба. Но теперь, конечно, не до патоки. Мертвое и пусто. Вторая церковь разрушена. Останки ее спихивали бульдозером под обрыв к реке: весь крутой откос от высокой площадки, где стояла церковь, до черной, ядовитой теперь (из-за кольчугинских заводов) воды, усыпан розово-белым щебнем.

Под церковью находился склеп с захоронением Кузьминых-Караваевых, Апраксиных, Голицыных, Воронцовых. Степанида Ивановна рассказывала мне, что в молодости ее водили в склеп, и она даже хотела дотронуться до траурной ленты, но лента от прикосновения рассыпалась в прах. Потом (см. «Владимирские проселки») склеп был разорен (искали саблю фельдмаршала Воронцова; кости все повыбрасывали наружу, а черепом фельдмаршала мальчишки играли, как в футбол).

От чебуровского дома осталось пустое место, обозначенное лишь куртинками крапивы, да и та вырождается за давностью лет. Я постоял около крапивы, стараясь вспомнить хоть какой-нибудь смутный образ дома и деда Ивана Михайловича, но ничего, кроме золотых шаров и решета с виноградом, не вспомнил. Да еще вот коричневые тона портрета, на котором был изображен широкобородый, широконосый старик.

Казалось бы, что мне до этого старика? И что мне до этой крапивы, до бывшего дома, до бывшей мельницы? Но зачем-то я, волею судеб, похож (в материнскую родню) именно на этого старика.

Одним летом (совсем уж недавно) мы съехались в Алепине и жили — я и две мои старшие сестры, Катюша и Тоня.

Просидели июль и август. Заметно темнее и звезднее стали ночи, более ранними вечера. Все же успеешь за день — и наработать, и начитаться, и нагуляться, так что вечером как-то вроде бы нечего уж и делать. Ну, положим, я еще могу шелестеть, перебирая, своими бумагами, страницами, а им, сестрам, — ни хлопот, ни забот, никакого занятия. И вот они начинают играть

в картишки. Однако все порядочные игры рассчитаны на троих, четверых человек и больше. Крепишись-крепишись, а потом и поддержишь их компанию. Ну ладно, пики, трефы, тузы и дамы. Играли, играли, а Катюша и говорит:

— Мы забыли, а ведь завтра Успенев день. В Караваево — в гости.

— Как же,— поддержала Тоня,— папа колеса уж смазал. Запряжет завтра Голубчика, подбросит свежего клеверку на телегу и поедем. Погода завтра будет хорошая, передавали, что без осадков, ярмарку дождем не разгонит.

(Алексей Алексеевич к этому времени — дело было в 69-м году — двенадцать лет уж как лежал в земле, Степанида Ивановна — два года, и уж десятки лет, как ни телеги, ни Голубчика, и от чебуринского дома, как знаем, ни кола ни двора, про ярмарку смешно и говорить, но вот надо же, развоспоминались за картишками в августовский вечер, в канун Успеневого дня.)

— Да, это была другая планета. Удивительно, мы вроде бы те же самые, а живем, как на другой планете... А еще я вспоминаю, что всегда в этот день мы видели журавлей.

— Как же, как же, обязательно журавли! На гороховых полях. Горох-то убрали, но много его просыпалось из спелых стручков. Журавли подбирали. А потом папа взмахнет кнутом, и они,— мечтательно,— полетят...

— Знаете, что я вам скажу... Я уж лет двадцать пять журавлей не видел. Нет и нет. Умирать будешь и вспомнишь: а журавлей-то я так больше и не увидел.

— Что это ты умирать собрался,— с присущей ей резкостью в суждениях выступила Тоня.— Живи!

— Я не собираюсь умирать. Но если я уже двадцать пять лет не видел журавлей, то где гарантия, что я увижу их в будущие двадцать пять? А за двадцать пять лет можно и умереть. Я не уверен, что через двадцать пять лет (а сестрам за шестьдесят) мы вот так же все трое будем мирно играть в картишки и вспоминать Караваево.

Каждый прикинул про себя этот срок, наложил его на свои годы, и стало как-то тихо-тихо за столом и в доме. Тихий Ангел пролетел, говорят про такую минутку.

Тоня поспешила разрушить это наше состояние:

— Ладно, ладно. Давай сдавай. Еще один консыграем и спать.

Но уже не сдавалось и не игралось.

Рано утром я вышел на улицу, к машине, собираясь ехать по грибы. Поднял капот, долил воды, проверил уровень масла.

Вдруг мое внимание привлек какой-то шум на другом конце села. Удивительно, что я еще не понял конкретно, что за шум, но уже знал почему-то, что это то самое и не может быть ничем иным. Поворачивая голову, я уже знал, что именно увижу.

И тем не менее я не поверил своим глазам. С другого конца села, над самыми крышами домов, летели огромные (оттого что так низко), неправдоподобные, как это могло бы быть только в сновидении, длинношеие птицы. Они летели без четкого строя, просто широкой

стеной, как если бы галки или вороны, но нет, это были не галки и не вороны.

Колокольня разделила было их стаю на две части (справа и слева), они быстро миновали ее, а тут как раз — наш дом, его железная крыша и кирпичная печная труба.

Птицы как-то сразу накренились на одно крыло и пошли кругом, виражом, воронкой, водоворотом над крышей и над трубой. С каждым кругом они поднимались все выше и одновременно понемногу сдвигались к югу.

Высыпали из домов люди. Помню, что сосед Александр Николаевич кричал: «Журавли, журавли... девятнадцать!»

Соседка Маруся Кузова почему-то начала считать их круги: десять, двенадцать, четырнадцать...

Я не мог считать ни птиц, ни кругов. Я смотрел и не верил тому, что вижу. Выбежали и сестры. У Катюши на глазах — слезы, от волнения, что ли, и от сопоставления вчерашнего разговора с этим зрелищем, а Тоня сказала, как отрезала, в своей манере:

— Ну вот, а ты говорил...

Но все-таки, что же это такое было?

## 8

В Караваеве праздновался Успенев день, а в маленькой деревеньке Брод («на Броду» — говорится, в наших местах) осенний Кузьма — Демьян, и тут уж, в деревеньке-то о пятнадцати домах, вытянувшихся цепочкой по берегу речки (а баньки сбежали от домов, с пригорка, к самому бережку на луговину), ни ярмарки, ни многолюдных гуляний, только гости в каждом доме и угождение гостям. Тихие родственные застолья: чистые столешники, закуски, мясная еда, графинчики, самовар во главе стола. И не двадцать верст до Брова, а одна — кривая, правда — верста.

Из боковых окон нашего дома видна зеленая луговина сельской улицы, тележная, в две прорези от колес дорога через эту зеленую луговину, а за дорогой сама улица, то есть порядок домов, примыкающих один к другому. Перед домами растут ветлы с округлыми, похожими на зеленые облака, кронами. Из-за этих-то крон и домов вид из наших окон ограничен. Ветлы и крыши загораживают далекий просторный мир. Да тут еще и своя сирень, под самыми уж окнами (подробнее о ней в своем месте), видимая из низких окон первого этажа только коричневыми стволами, а против верхних окон, как раз раскudрявившаяся, распушившаяся, протягивала к окнам свои зеленые листья, а по весне и яркие кисти цветов и окончательно застила белый свет.

Но из окна дедушкиной спальни попадаешь взглядом в удачный прогалок между ветлами и крышами (а сирени тут уже нет) и тотчас взглядом оказываешься у горизонта, где из-за темной полоски леса показывается беленький, заостренный наперсток церковки. Перед темной полоской леса земля светится яркой зеленью озими, или ярким золотом нивы, или

тусклым золотом живя с крохотными крестцами, расставленными по полю, или черным бархатом свежей пашни. Там-то, на этом поле, в прогалке между ветлами и крышами далеко-далеко, как в перевернутом бинокле можно бы сказать, если бы тогда был у меня бинокль, и стояла всегда ветряная мельница.

Утром я, загадывая, побегал к окну,— крутятся крылья мельницы или неподвижны крестообразные лопасти? В моем сознании эта мельница жила величиной со спичечный коробок, поэтому, когда отец однажды подвел меня к ней, испугало нарастание громады, по сравнению с которой все меньшие и меньше становились мы с отцом, и пришлось запрокидывать голову, чтобы охватить все сооружение. Дверь в мельницу, казавшаяся из дедушкиной спальни точечкой, дырочкой, летком в улье и даже меньше летка, превратилась в большую дощатую дверь, а лопасть, будучи освобождена от запора, вдруг поплыла от меня чуть ли не в облака. В бревенчатом и тесовом великане, чья крыша подернута ярким, как яичный желток, плотным лишайником, как мне было узнать мою ежеутреннюю игрушку?

Деревня Брод была следующей после Караваева географической точкой (а хотите, так перед ним), к которой тянулась в моем младенчестве от нашего дома прямая линия связи. Эта линия была бы прямой, если бы я теперь выдумал чертить лучевую схему: двухэтажный дом в середине вселенной, от которого, постепенно отходя в разные стороны, осваиваешь земное пространство. Само село, сад, огород, залог, речка и ближайший лесочек, как говорится, не в счет. Разбираем лишь другие населенные пункты. Что же брать, если не отчий дом, за центр вселенной и с какого боку, с какого краю в противном случае помещать на белом листе вселенной себя? Только такой и может быть схема: твой дом и ты сам в середине листа, а от тебя уж и от твоего дома пусть разбегаются во все стороны схематические лучи: один в Караваево, другой на Брод (коротенький лучик), а дальше мало ли как пойдет дело. До Албании, до Парижа, Лондона, Вьетнама, Болгарии, Варшавы, Будапешта, Франкфурта-на-Майне и Кельна, до Памира, до Тянь-Шаня, Карского моря, Нижнеколымска и Якутска, до Киева, Ленинграда, Кишинева, Тбилиси, Еревана, Баку, Душанбе, Ашхабада, Самарканда и Бухары, Тобольска и Тюмени, Копенгагена и Мюнхена, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Вашингтона, Мичигана, Марселя и Ниццы, Экс-ан-Прованса и Страсбурга, Гренобля, Бристоля, Белграда, Праги, Братиславы, Любляны, Канзас-Сити, Айова-Сити, Чикаго и Стокгольма, Гетеборга и Пекина, Бордо и Дрездена...

Невероятной кажется та пора, когда на девственном листе моей жизни существовало два отходящих лучика — в двадцать вёрст и в одну версту.

Да только ли в верстах дело! Может быть, я теперь, если бы расставилось все опять на земле на свои места — и Караваево, и Брод, и мельницы, водяная с ветряной, и отец с телегой, и мать, и все мои сестры и братья, и дом, и дед, и весь обиход, и успенская ярмарка, и вокруг Россия в том еще, не распорошен-

ном, не обескровленном, не истерзанном виде, и журравли на горохах,— может быть, я за то, чтобы проехать по той России на телеге до Караваева, отдал бы всю теперешнюю схематическую паутину лучей, со всеми Кельнами, Лондонами и Парижами, а осталась бы мне только тропинка среди травы, в прогон, с крутою зеленою горы, прямо к быстрой хрустальной речке, через которую в ольховой зеленою тени положено желтое, плоское сверху бревно с гладким поручнем — лава. Взрослые идут по ней прямо, лицом вперед и держась за поручень одной рукой, а мне приходится передвигаться боком, неудобно переставляя ноги одна за другую, и за поручень держаться обеими ручонками, поднимая их вверх. А отец в это время держит меня за шиворот так, чтобы я не чувствовал его руки и переходил через речку как бы самостоятельно, но все-таки и сорваться бы с лавы тоже не мог.

Да, это только на схеме линия до Брова была бы прямой. На самом же деле — витиеватая земная тропинка, в прогон, мимо залогов, по крутой горе вниз, мимо елового и соснового леска (с можжевеловыми кустами, выбежавшими из него на зеленый откос горы), через эту вот лаву, а дальше через широкий ровный луг до бродовских огородов, а потом уж и домов. И всю деревню надо пройти под окнами, потому что дом Григория Ивановича и Пелагеи Николаевны самый крайний, последний, с того конца. За ним опять зеленая луговина, опять (повторю) не истерзанная еще в те годы, не испорченная Россия.

В доме Григория Ивановича и Пелагеи Николаевны умели потчевать. Григорий Иванович гоголем ходит вокруг стола, зорко наблюдая порядок, и у самого постоянно лафитник в правой руке.

Это был низкорослый кряж, крепкий старик с седой короткой, но широкой бородкой, которая, как ни была коротка, загибалась кверху. Он ее все время поддавал тыльной стороной левой кисти от кадыка вверх.

Поддавая бородку, Григорий Иванович встряхивал и головой. Иногда от этого характернейшего движения оставалась только вторая его часть, то есть встряхивание головой и бородой, а рука не участвовала. Если рассказывал что-нибудь Григорий Иванович, то особенно выразительно встряхивал головой и вскидывал кверху короткую, крепенькую бородку. Одет он в холщовую просторную рубаху, подпоясан крученым поясом, а с пояса на веревочке спускается гребешок: классический дед — пиши картину.

Пелагея Николаевна, повязанная светлым платком в горошек, но в темном (коричневом, может быть) платье, не умолкает:

— Кушайте, гости, кушайте. Вот студень, вот зливное, вот баранина...

Через несколько минут опять:

— Кушайте, пожалуйста, кушайте — грибочки, рыжички соленые, зайчатина, кушайте...

Эта зайчатина, темно-красная, мелко крошенная на тарелке, да еще яркие рыжики, не потерявшие своего натурального цвета при умелой солнце, да еще причудливые графинчики, столпившиеся на конце стола, — вот что запомнилось больше всего из бродовского застолья.

В этот дом была выдана моя самая старшая сестра Александра Алексеевна, а по-нашему, по-домашнему,— Шуринка. Вот и еще один предприниматель, мельник в моей родне — Григорий Иванович Ламанов. Хозяйствовали они вдвоем с сыном, то есть, значит, с нашим зятем Михаилом Григорьевичем.

Знаем, что ветряная мельница (ветряк) была когда-то неотъемлемой частью российского пейзажа, особенно в более южных — орловских, курских, воронежских, рязанских землях, не говоря уж о Доне и Украине. В наших местах, правда, предпочтительнее были водяные мельницы, потому что пронизаны наши места густой сетью тихих и светлых речек. На одной только Колокше от Юрьева-Польского до Устья, на протяжении каких-нибудь семидесяти верст, стояло двенадцать мельниц. Двенадцать плотин, двенадцать мельничных омутов — каскад, сказали бы теперь. Но зато и красавица же была, подпertiaя, приподнятая плотинами, рыбная, светлая, а ныне совсем обмелевшая и захиревшая, зарастающая и тиной заплывающая Колокша.

Но были все же и ветряки. Есть ли в каких-нибудь статистических анналах цифры, обозначающие общее число водяных и ветряных мельниц в России? А интересно было бы эту цифру узнать, потому что она сказала бы нам и о количестве распотрошенных крестьянских хозяйств, владевших водяными и ветряными мельницами, о числе разбросанных по белому свету и большей частью уничтоженных крестьянских семейств.

Теперь я думаю, что дом, двор, погреб, сад, огород, пасека, все хозяйство Григория Ивановича могло бы служить образцом маленького (одна лошадь, одна корова, две свиньи, земли, я думаю, десятин 6—7) идеального крестьянского хозяйства.

Дом у них был одноэтажный, небольшой, но все-таки уже и не простая, с ее извечной схемой, изба. Это был, как я бы сказал теперь, маленький коттедж. Три окна в одну сторону да три в другую (чтобы представить масштаб строения) и, конечно, кухня с русской печью, но передняя комната оштукатурена и расписана каким-то самоучкой в кувшинки и лилии. Это — как бы уж маленькая зала. И какая-то была там узкая, похожая на коридор галерея, охватывающая снаружи две стены дома, и еще одна благоустроенная капитальная комната через коридор от кухни.

Тут я должен назвать три момента, наиболее запомнившихся мне. Первое — вид из передних окон. Ни деревенских домов, ни сараев, ни заборов и прясел не было тут перед глазами, а была как если бы картина в раме — зеленая даль: луг, речка, делающая изгиб на этом лугу, а за лугом кругой зеленый пригород, а на его верхней линии сосновый лесок (откуда и рыжики на тарелке, на столе, сохранившие при солнце не только свой цвет, но и, кажется, даже и полоски).

В самом пейзаже, правда, очень чистом, опрятном, свежем, зеленом, не было, в общем-то, ничего выдающегося — луг, да пригород, да сосновый лесок, но очень уж он был непривычен для меня, видевшего из своих окон деревенскую улицу и дома, плетни огородов, ветлы, колодец, дорогу либо церковную ограду

и саму церковь в пятидесяти шагах от дома, если посмотреть в другие, передние, окна.

Второе чудо — это лилии и кувшинки на стенах и на потолке главной комнаты в доме, залы<sup>1</sup> Она, расписанная, казалась мне сказочным дворцом, настолько не была похожа на все, что можно было увидеть и что я видел в действительности во всех других деревенских домах.

Третье, что поразило тогда меня и запомнилось, — это охра. Сам дом снаружи, крыльце, полы, лесенка из сеней во двор о пяти ступеньках, поручень этой лесенки — все было выкрашено в чистую, яркую, плотную, глянцевитую охру. Такую охру, как бы полированную, производящую по гладкости и крепости впечатление слоновой кости, я встречал потом только на хороших русских иконах.

Все это: и добротная, прочная краска, и лилии с кувшинками на стенах и на потолке залы, и чистый луг с пригорком в окнах — все это вместе создавало ощущение неправдоподобности, игрушечности, что ли. Сейчас поиграем, побудем в игре и вернемся в нашу реальную, деревенскую действительность.

Двор по чистоте и прибранныности не уступал дому. Земляной пол утрамбован и всегда подметен. Ни мусоринки, ни соломинки, валяющейся тут, — и это на деревенском-то дворе! Сбруя сверкает начищенными бляшками, в хлевах у коровы, у свиньи, у овец, у лошади чистая, желтая солома. Каждая вещь — хомут, вилы, метла, тарантас, дуга, коробица, ведерко с колесной мазью, лошадиная щетка и гребень, топор и всякая мелочь знают свое определенное место.

И у нас тоже дом и двор. Но семья — десять человек детей вместо единственного взрослого сына, но все как-то у нас немножко расхлябано и подзапущено по сравнению с этим игрушечным идеальным хозяйством. То ли все строилось на вырост хозяйства, то ли часть хозяйства уже утекла ко времени моего детства, но все как-то у нас выглядело широковато и разбросано. Даже по мелочам. У нас в доме могла быть полка, на которой навалено издавна и пылится бог знает что: склянки, банки, ненужные вещи. Может быть шкаф в сенях с такой же свалкой ненужных вещей, а то и целый чулан. Про чердак уж не говорим: Там были и раскапывались мною целые пласти прежней семейной цивилизации.

У Григория Ивановича ничего подобного быть не могло и не было. Ни одной лишней вещи, ни одной вещи, которая не знала бы своего места. Моя мать, Степанида Ивановна, управлялась кое-как, обиживала семью и хозяйство, катала чугуны и корчаги в печку, корм, пойло, еду, а там — огород, гряды, стирка, полоскание, полевые работы, болезни детишек, убрать свеклу, капусту, огурцы... Недаром, когда она уже лежала в гробу, я обратил внимание, впервые, увидел, что ее обручальное кольцо на пальце все сносилось и стерлось до тонкой фольги, и на чём только держалось. Не удивительно, что если ее хватало на

<sup>1</sup> Опять же, для представления о масштабах описываемого, прикинем: было в расписанной зале не больше двадцати квадратных метров. Наверное, даже меньше.

все главное (тащить, волочить семейный домашний воз), то, может быть, на идеальный порядок в доме, так чтобы нигде ни пылинки, ни мусоринки, а только чтобы сверкающая охра,— на это Степаниды Ивановны могло уже не хватить.

А отец, Алексей Алексеевич... Лошадь, пахота, бороныба, возка снопов, молотьба (да еще эти заводишки), да еще и характер Алексея Алексеевича. В последние уже годы, как бы ни пишила его Степанида Ивановна, как бы ни внушала ему, что зима на дворе, а дрова не запасены, всегда и неизменно отвечал, лежа за перегородкой: «Ладно, без дров не будем».

Впрочем, тут я могу немного и ошибиться и, как говорится, сместить акцент. Возможно, что свой дом и двор я вижу памятью в более поздние времена, когда действительно все сошло уже с рельсов, а не в годы самого раннего моего детства, когда и наше хозяйство было организовано и упорядочено не хуже, нежели у Григория Ивановича.

У него была очень высокая, белоногая лошадь Чайка. Гнедая, с белой звездой во лбу. Запрягал он ее во дворе при закрытых воротах, садился в саночки. Потому что, когда ворота распахивали сын или Пелагея Николаевна, можно было и не успеть сесть в саночки: с места неудержимо брала Чайка, и только бубенчики да шаркуны затихали вдали. Потряхивая бородкой и головой и то и дело подбивая бородку снизу вверх тыльной стороной левой ладони (а в правой держа лафитник), Григорий Иванович рассказывал гостям, как у него однажды украли Чайку.

— Да... пошел я утром за лошадью... на залоге привязана была... цепь на месте, а Чайки нет... следы... сапоги... Земля сырья, все хорошо видно, а тут дорога, река... Концы в воду. В наших местах искать бесполезно... Чайка не иголка, второй такой лошади в мире нет... да... я по конным базарам... да... Юрьев-Польский, Кузьмин Монастырь, Сузdalь, Владимир, Гаврилов Посад... где конный базар — я туда, где ярмарка — я туда, два года по всем ярмаркам и базарам, ни одного не пропустил, да... и вот вижу... в телегу запряжена, все чин по чину — моя Чайка... Ну... я тихонько сторонкой в милицию, так и так — моя лошадь. Пришли мы с милицией на базар. Хозяин Чайки — ничего не знаю, говорит, моя лошадь. Ничем не докажете. Милиционер отвел нас обоих за тридцать шагов и спрашивает у того: «Как зовут лошадь?» «Пальма», — отвечает тот. «Зови», — велит милиционер. Тот начал: «Пальма, Пальма», а Пальма и ухом не ведет. «Теперь ты». Я как крикнул: «Чай-ка!» Как она голову вскинет, как заржет на весь базар, да так радостно, привязь оборвала и прямо с телегой — ко мне... Ну, дело ясное... распрягай, хозяин, приехали...

Не думаю, чтобы с чувством глубокого удовлетворения и исполненного долга перед родной советской властью отдал потом эту Чайку Григорий Иванович на общий двор (то есть, вернее сказать, в сарай, превращенный на скорую руку в общий двор), в колхоз, где вместе с другими бродовскими лошадьми вскоре и укатали сивку крутые горки.

Ветряк Григория Ивановича был не простой мельницей, где мелют муку, но маслобойкой. В то время

в наших местах еще сеяли много льна. И не в том дело, что сеяли (посеять и теперь можно), а в том, что крестьяне этим льном до последнего семечка и до последнего стебелька распоряжались сами. Не надо было его никуда и никому сдавать или в принудительном порядке продавать. Из льняного семени, мелкого, шелковистого, крестьяне, если была возможность, делали масло, оно называлось тогда не растительным, не льняным, но просто «постным», в отличие от коровьего, сливочного, топленого, русского. Так и говорили: поедешь на базар, купи постного масла.

Я не знаю условий, на которых работала маслобойка Григория Ивановича. Наверное, он брал за производство масла некоторую его часть, и в этом состояло его предпринимательство (ужасно не хотелось бы употреблять здесь словечко «бизнес»). А скорее всего даже и не так, но было известно, что из пуда семени получается, скажем, пятнадцать фунтов масла и двадцать пять фунтов избояны (жмыха). Десятую часть — мельнику за работу. В этом случае можно и не ждать, когда истолкуют именно твое семя. Привез два пуда семени, забирай что тебе полагается. А если старушка какая-нибудь наскребет у себя толику в пять горстей, все равно унесет в бутылке свою долю.

Картошка — с постным маслом (она сразу ярко желтела от него), блины, капуста, грибы, редька, лук, гороховый кисель — все с постным маслом. Еще было лакомство для всех детей в нашей округе: полить постным маслом кусок свежего ржаного хлеба и посыпать солью. Соль была крупная, с приятным похрустыванием на зубах. Можно было налить также маслица на чайное блюдце, посыпать солью и хлеб макать...

Признаться, я забыл теперь вкус льняного масла и сколько ни стараюсь, нигде не могу купить (достать) хотя бы одну бутылку. Во всем бывшем государстве Российской, а теперь СССР, невозможно купить глоток льняного постного масла! На вид (в бутылке) оноказалось черным, как деготь, и только ярко-золотые пузырьки пеня сверху выдавали его настоящий цвет, этот цвет полностью проявлялся, когда масло наливалось тонким слоем на белое чайное блюдце.

Золотая масляная струя текла в ветряке Григория Ивановича многие годы, не удивительно поэтому, что из нее, из этой струи, разливавшейся по бесчисленным ведрам и четвертым<sup>1</sup>, успели отстояться и откристаллизоваться несколько твердых и уже натурально золотых кружочеков. По одним разговорам, таких кружочеков у Григория Ивановича накопилось тридцать, а по другим разговорам — пятьдесят. Не из-за этих ли кружочеков он и погиб, хотя считалось, что забрали его за анекдот, причем известно, за какой именно. Он мазал колеса у телеги, когда подошел к нему его брат, живущий через два дома, с которым они когда-то что-то не поделили. Брат подошел и пожаловался:

— Что-то мазь, Григорий, какая-то не такая стала. Бывало, помажу колеса и неделю езжу. А теперь не

<sup>1</sup> Четвертыми назывались в России трехлитровые бутыли, бывшие в широком употреблении.

успеешь до лесу доехать, а колеса уже скрипят. Что за притча такая?

Григорий Иванович тряхнул бородкой, поддел ее тыльной стороной левой ладони:

— Какова власть, такова и мазь.

И было это уже в первой половине тридцатых годов, то есть позже коллективизации и раскулачивания, через которые маслобойщик прошел невредимо, если не считать, конечно, расставания с мельницей, которую отобрали у хозяина, но которая после этого все равно не произвела ни одного стакана постного масла, а постепенно ветшала, разрушалась и наконец исчезла с лица земли.

Версия, будто за Григорием Ивановичем пришли неожиданно и ни на одну минуту не позволили остаться с Пелагеей Николаевной с глазу на глаз, так что он не успел шепнуть ей, где зарыты на дворе золотые кружочки, эта версия неверна. Уже настолько все было покорно и безразлично к этому времени, что арестовывающим и не надо было ехать на Брод, достаточно было прислать повестку: явиться туда-то и туда-то. И человек шел сам, добровольно, хотя и знал, что обратно не вернется. Так что было время у Григория Ивановича сообщить Пелагее Николаевне тайну клада. А если он не сообщил, значит, боялся, что старуху запугают и она выдаст, или в глубине души надеялся, что отпустят его в конце концов.

В то время шла усиленная преступная охота за золотыми кружочками по российским деревням. У кого два, у кого пять, все равно крохоборческое государство не могло примириться с тем, что кружочки эти не у него в руках. По всем рязанским, орловским, тамбовским, владимирским и вообще по всем деревням арестовывали людей и пугали и мучили их до тех пор, пока они не признавались, где спрятано золотишко. Признавшихся иногда отпускали. Но Григорий Иванович, конечно, не признался, не тот был мужик.

Пелагея Николаевна жила еще несколько лет после того, как ушел по повестке и не вернулся Григорий Иванович, и жила она уже в одиночестве. Единственный наследник Михаил Григорьевич уехал и жил где-то в шахтерском поселке. Его можно понять: легко ли глядеть на постепенное оскудение и разорение родного дома, хозяйства и вообще родных мест. Осиrotевший дом продавался, перепродаивался, и в конце концов поселился в нем местный дурачок Вася-святой, личность никчемная. Бывало, Григорий Иванович и к крыльцу не подпустил бы Васю-святого. Я думаю, что если бы воскрес Григорий Иванович и узнал бы, что в его доме живет теперь Вася-святой, то тотчас же и умер бы второй раз.

Сейчас на месте крепкого крестьянского гнезда — гнилушки, кое-как сохраняющие внешнее обличие дома, да еще крапива вокруг. О саде с пасекой говорить не приходится. Но так как расточается постепенно и вся осталенная деревня Брод, то гнилушки и крапива не производят особенного удручающего впечатления. По всему Броду теперь крапива с гнилушками. На против, резал бы глаз, выделялся бы теперь крепкий и красивый крестьянский дом. Он не вписывался бы в крапиву и в ямы на месте бывших домов. Теперь же —

полная гармония и единство тона: крапива, ямы на месте домов, заброшенные, дичающие сады. Скоро заровняют и запашут самое место, где стояла деревня Брод, как запахивают теперь сотни и тысячи таких вот маленьких деревенек. Потомок, глядя на ровное поле, и знать не будет, что здесь когда-то кипела жизнь, пелись песни, гулялись праздники, красовались наличники, орали петухи, цвели яблони и вишни, скрипели телеги, вертелись мельницы. Он будет глядеть на ровную пашню, как мы глядим на ровные волны океана, на месте которых, предположительно, процветала сказочная страна Атлантида...

## 9

В первоначальных земных впечатлениях мне повезло. Возник бы где-нибудь рядом с дымящими заводскими трубами, где окраина города, гремящие поезда, про-масленная земля, покрытые копотью древесные листья и дощатые будочки над выгребными ямами. И тогда... И тогда было бы детство и нашлись бы золотые крупицы в нем, даже если — пьяные окраинные кабаки и голодные беспризорные собаки, материщина и семейные скандалы, драки и уголовщина... Меня встретило на земле мирное и тихое созидание.

Посадить в землю зернышко и вырастить из него что-нибудь: ржаной колос, метелку овса, разветвленный стебель льна с голубыми цветочками... да хотя бы и жирную туповатую свеклу — это прекрасно уже само по себе. Кроме того, это связано с постоянным ощущением погоды, с постоянным контактом с землей, с природой. Ожиданье дождя и радость оттого, что дождь наконец пошел; ожиданье вёдра и радость оттого, что оно наступило; капели, заморозки, движение туч, оттенки вечерней зари, поведение животных и трав, пауков и лягушек, серого камня и дыма из трубы; роса на траве и дождевые пузыри на лужах... все это — не любование природой, не стороннее изучение ее, хотя бы и фенологом, хотя бы и Пришвиным, но профессия, будни, жизнь.

В современном журнале читаем: «Если человек длительное время находится в автомобиле или самолете, у него появляется сонливость, вялость, теряется аппетит, снижается работоспособность. Почему это происходит? Результаты опытов, проведенных над животными и людьми, позволяют сделать вывод о том, что на самочувствие и настроение человека большое влияние оказывает величина электрического поля. В кабинах автомобилей и салонах самолетов напряженность электрического поля значительно меньше, чем в окружающем пространстве — металлическая обшивка экранирует эти помещения.

Исследователи попробовали искусственно увеличивать напряженность электрического поля в металлической клетке, где находились подопытные животные. Специальный генератор создавал внутри клетки электрическое поле в 500—800 в/м, что соответствует нормальному уровню напряжения на земле. После этого подвижность и жизненный тонус подопытных

животных значительно возрастили. Аналогичные результаты были получены и при проведении опытов над людьми».

Проведение опытов над людьми вообще-то считается безнравственным! Но что поделаешь, если люди сами добровольно засадили себя в разнообразные металлические клетки и отключили от земли, от ее единых электрических и прочих сил.

Появились уже чудаки, которые перед сном привязывают себе к щиколоткам оголенные провода, другим концом присоединенные к батареям центрального отопления. Батареи где-то внизу посредством труб так или иначе соприкасаются с землей. И вот человек, живущий на каком-нибудь девятом этаже, искусственно заземляет себя, хочет соединиться с земным шаром, прикоснуться к нему если не босой ступней на полевой тропинке, если не всем телом на лугу в душистой траве, то хотя бы при помощи проводов и труб парового отопления.

Синтетической одеждой и обувью, резиновыми колесами и асфальтом, всевозможными пластиками человек все больше изолирует себя от земного шара, искусственно отключаясь не только от общего земного электричества, но и от многих, не изученных нами сил, излучаемых деревьями и травой, дождями и радугой, сосновой хвоей и плывущим облаком, дремлющим бором и утренней росой, речным туманом и молнией... да и просто мягкой и доброй почвой.

Однако эта физическая изоляция покажется мелочью, если вспомнить о той чудовищной психологической и духовной изоляции, которая существует теперь между Человеком и Землей. Конечно, стараемся, тщимся, выращиваем на балконе цветочек или перышко лука, держим и в квартире какое-нибудь растение, обзаводимся дачным клочком земли, на воскресный день выбираемся в лес или на речку. Но все это не серьезные отношения с землей. Это вроде как детская игра в дочки-матери вместо подлинной любви, подлинных любовных объятий, подлинного рождения детей.

И подумать только, что еще мой дед и даже мой отец находились в том прямом и непосредственном контакте с землей, который человеку предназначен и необходим.

...Никак не можем вспомнить, сколько у нас было земли. Спрашиваю у старших братьев и сестер — говорят разное. Но все же вырисовывается, что не могло быть меньше шести, но не было и больше двенадцати десятин.

Вот тот микроскопический кусочек планеты, который был, так сказать, поручен нашей семье, чтобы мы заботились о его процветании, взрыхляли его, бросали в него семена, убирали сорняки, удобряли навозом, всячески обижаживали и ласкали.

Здесь надо бы рассказывать о тех крестьянских работах, которые мне приходилось наблюдать, а в иных и участвовать. Но вот беда, о них почти все уж рассказано в предыдущих книгах, хотя бы в «Капле росы». Допускаю, что возможному читателю этих строк так и не попалась книга с таким названием и, значит, никакого повторения для него не было бы, но я-то знаю, что есть такая «лирическая повесть» с подробнейшими впечатлениями деревенского, крестьянского детства, и перо тот-

час откажется двигаться по бумаге, как только попадет на проторенную дорожку.

И вообще, разворачивая и расстилая на мнимом пространном столе кусок материи, из которого собираюсь кроить эту книгу, с ужасом вижу, что весь он в зияющих прорехах. Беспорядочно и наугад вырезал я из полотна своей жизни то один лоскут, то другой и шил из этих лоскутов рассказ, стихотворение, главу для повести, эпизод для романа. Я как бы брал березу, речку, ромашку, жаворонка, колодец, колоколенку за синим лесом и показывал эти отдельные детали пейзажа в надежде, что постепенно сложится цельная картина. Что ж, в этом был свой резон, если бы теперь не пришло в голову написать весь пейзаж целиком и в композиции, и вот вопрос: что делать теперь с уже изображенными березой, речкой, ромашкой, жаворонком, колодцем, колокольней за синим лесом?

Конечно, на протяжении суток (не говоря уж о году, а тем более о жизни), меняется освещение, и предметы под вечер могут выглядеть иначе, нежели они выглядели в полдень и утром, а осенью, в листопад, иначе, нежели в июльскую пору, но все-таки это слабое утешение, и едва ли послужило бы оно оправданием, если бы я и вправду начал бы обо всем писать во второму разу.

Впрочем, надо признаться, что призываю самые первые, досемилетние, дорубежные впечатления (а тут сразу два рубежа — школа и коллективизация), я вижу, если быть добросовестным и не тащить в тот ранний отрезок жизни более поздний опыт, не очень многое от крестьянских полевых работ. Главные впечатления шли тогда, видимо, через дом, через домашний уклад. Главное тут было не в деталях и фактах, а в ощущении благополучия, тепла, света, семьи, счастья, Бога...

Двухэтажный дом (низ кирпичный, верх деревянный) был построен что-нибудь в середине прошлого века и к своему приближающемуся столетию превратился в труху. Во всяком случае, превратилось в труху все, что было в нем деревянного. Железная крыша тоже вся проржавела насквозь, скрепы распались, ветер задирал листы железа, гремел ими, в дождь приходилось подставлять везде в доме тазы и корыта, и тут можно отметить один щемящий мотив. Мало найдется на свете звуков, которые так услаждающие действовали бы на мой слух, как шум дождя о железную крышу дома. И вот оказалось, что это хорошо только тогда, когда под крышей уютно, тепло и сухо. Наслаждение превратилось в бедствие и душевную боль. Только ради того, чтобы опять, хоть однажды, со спокойной душой и спокойным сердцем услышать шум летнего (бурного, крупного, а пусть хоть и мелкого, мягкого, ровного) дождя о родную крышу, стоило (так хотела душа) возвратить родительскому дому крепость и прочность.

К 1961 году (у меня уже пять-шесть книг и две дошкольные дочки) проблема обозначилась очень четко: либо бросать совсем родное гнездо и заводить что-нибудь вроде дачи возле Москвы и больше уж никогда не возвращаться в Алепино, либо отремонтировать дом и каждое лето приезжать. Наша речка, наши холмы и овраги, наши небольшие лесочки по холмам, наши ветлы

и липы, цветы, тропинки... Наше сельское кладбище, в конце концов, на котором Алексей Алексеевич покоился к тому времени вот уже четыре года, а Степаниде Ивановне предстояло... оказалось потом, через пять лет.

Я принял решение отремонтировать алепинский дом.

Этот шаг был не практический, а романтический. Все говорили, что на новом месте (хотя бы и в Алепине) дом построить и дешевле и легче. Проще. И будет новый компактный дом, удобная планировка. Оставаться же в габаритах дедовской хламиды, пытаясь ее осовременить, бессмысленно, глупо. Ничего не получится. Но я захотел остаться в дедовских габаритах.

Задумывался ли я над тем, что это все равно будет другой дом, хотя бы и сохранивший внешнее обличье? Может быть, я это и знал, но все равно не предвидел жуткого одного момента, мгновенья, когда я открыл дверь и остановился на пороге нашего отремонтированного «низа» (нижнего помещения, этажа), где настлан уж новый пол, оштукатурены заново потолок и кирпичные стены. Я остановился на пороге и увидел, что все укладывается тут в пустое трехмерное пространство: длина, ширина и высота. Низковатый продолговатый ящик, абсолютно пустой. Четыре небольшие окна (новые рамы и подоконники) не нарушили той первозданности и стерильности, при которой ничего прежнего уже нет, а ничего нового еще нет. Можно все начинать сначала.

Неужели сложнейший по множеству и разнообразию впечатлений мир моего детства, мир моего дома со всеми его углами, закоулками, перегородками, кроватями, лавками, полками, печками, шкафами, чугунными горшками, ухватами, поленьями, керосиновыми лампами, конской сбруей (пахнущей дегтем), самоварами, сундуками, горячими утренними лепешками, ночными образами, освещенными негасимой лампадкой, поддевками и тулурами, сапогами, печурками (с пересохшими варежками, портянками и носками), запечеными тараканами, решетами, косарями (щепать лучину), подшитыми валенками, окнами, обледеневшими, как айсберги, с сестрами и братьями, с котятами, ягнятами и телятами (брали зимой и держали в доме теленка на первые две-три недели после отела), с бельевыми корытами и вениками, с опарами и горячими хлебами, с клубами белого пара при каждом открывании двери и с выставлением рам весной, перед Пасхой,— неужели все это умело и имело габариты этого пустого, унылого ящика: длина, ширина, высота?

И какой же формы душа, если вот так же произвести ремонт и выбросить все нажитое и обжитое, оставив ее хотя бы на время такой же вот пустой и наглядной? Неужели и душа окажется трехмерной, как этот странный и жуткий параллелепипед? Простая геометрия, а все мои тысячи тысяч впечатлений о внешнем мире не выходят за пределы длины, ширины, высоты?

Не соглашайся и протестуй, душа!

Дом был двухэтажным. У дома был верх и низ. Так это и называлось — не второй этаж, не нижний и не первый этаж, но — верх и низ... «Сходи наверх,— могла сказать Степанида Ивановна кому-нибудь из своих дочерей,— полей цветы», «Куда-то ножницы запро-

пастились?» — «Они внизу, на окне». Между низом и верхом — узкая лестница с одним поворотом, а всего четырнадцать ступенек. Внизу она начиналась узкой и тонкой дверью с вертушкой (чтобы не открывалась сама), а вверху... вверху, ничем она не кончалась, просто с верхней ступеньки переступаешь на пол, и это уже — верх.

Низ — продолжение двора, сеней (а за двором сад-огород, а за садом-огородом поля, земля), верх же — начало чего-то иного, совсем иного, не земляного и огородного мира: там красивый посудный шкаф, вернее сказать, буфет, диван, просторный (раздвигающийся и сдвигающийся, впрочем) стол, вышитый красными бабочками накомодник, вышитые скатерти (по праздникам), тридцатилинейные лампы-молнии, зеркало с подзеркальником и красивые вещички на нем, специальная ступенчатая подставка с комнатными цветами, книги Пушкина и Лермонтова, Библия, которую постоянно через большую лупу на ручке читает дед в своей комнате, ореховый гардероб и ореховая кровать в так называемой «середней» (кстати сказать, где я, на каковой кровати, и родился в Духов день), книжные полки в девичьей «задней» комнате.

Набросаем такую схему. Земля есть земля. Поля, сад, огород. Из земли произрастает дерево дома, дерево семьи, дерево рода. Оно пустило в землю корни двора с избушками для коровы и лошади, для овец, с телегами и конской сбруей, с хлевами и соломой, с навозом и сеном, с вилами и бороной, с плугом и топором... (А еще под крышей двора дед Алексей Дмитриевич укрепил корытообразную половину бывшей кадушки для того, чтобы водились там голуби. Это уж для души и, надо понимать, как излишество. Но голуби там водились, ворковали, клевали просыпавшийся овес на подметенных метлой булыжных камнях (середина двора была мощеной речным камнем), вылетали через открытые ворота из полутишины двора в яркий, ослепительный летний день, а оттуда из-под синего неба, от цветущей сирени, от цветущих ветел, а потом черемух, а потом лип — опять в надежную полутишину двора: У нас теперь при отремонтированном для летних наездов алепинском доме нет никакого двора, но над окном верхнего этажа, за наличником, упорно водится пара голубей. Не потомки ли тех, дедовых, и не передались ли им через гены виденья: седобородый старик с метлой, вороной жеребец, конская сбруя, просыпавшийся овес да еще белоголовый мальчиконка, пробирающийся босыми ножонками по холодным мокроватым камням к задней калитке, раскрытой в солнечно-зеленый и теплый сад?)

Итак, дерево дома пустило в землю корни двора и тем самым крепко держится на земле. Сени как продолжение двора (с их чуланами, мучными ларями, мешками, ведрами, кадушками, вообще с хозяйственной утварью), а затем и низ дома (как продолжение двора и сеней) с его русской печью, охапками дров, тулурами и полушибками на вешалках, с корчагами белья, с огромными чугунами коровьего пойла, со стряпней и самоваром, подпускающим синеватого, остренького чада, с широкими лавками и широкими же полками, с решетами и хлебной квашней, с очистками и вообще с пищевыми

отходами, с веником у порога, с мухотой в летние дни, с крынками молока и горшками сметаны, со студнем, разбираемым под праздник, с пареной капустой и репой, с гороховым киселем и гречневой кашей, с картофельным супом и грубыми повседневными пирогами (с морковью, с картошкой, с репой), с кухонными полотенцами и мытьем посуды, с большим деревянным корытом для стирки белья (простиранным в одном месте почти насквозь), с рукомойником — низ дома и сени я определил бы как ствол дерева, держащегося за землю корнями двора. А потом уж — второй этаж, «верх». Это листья, цветы и плоды. Да, это совсем другой мир и на взгляд, и, что важнее, по существу. Корни в земле, а цветы на солнечном свету, на ветерке, они результат всех усилий дерева — и корней, и ствола, и окружающей среды. А там уж, после цветов — и яблоки. Конечно, зависит от породы, от сорта дерева, каковы будут яблоки, но надо сказать, что в России к моменту ее сокрушения (когда подрубили все корни, обкорнали все ветви, искромсали весь ствол) верхний слой крестьянства начал активно и, я бы сказал, плодотворно прорастать побегами в вышенеходящийся слой российской интеллигенции, российской культуры. Есенин, Клюев, Шаляпин, Корин, Соколов-Микитов — не единственные примеры. Героиня поэмы Маяковского («Приду в четыре, — сказала Мария, — восемь, девять, десять»), эта самая Мария, интеллигентка и красавица, была дочерью воронежского крестьянина. В сущности, крестьянами (но уже и интеллигентами) были и родители того же Солженицына, и он, родившийся в 1918 году, отнюдь не благодаря советской власти, скорее вопреки ей, стал тем, кто он есть. Конечно, это было бы другое по характеру явление русской культуры и истории, но то, что это было бы явление, сомневаться невозможно. Гены верхнего крестьянского слоя (повторим) пришли в движение, в активное состояние, и начали прорастать в культурный слой народа. О возможных результатах этого процесса сейчас остается только гадать да предполагать, как известно, весь этот верхний слой крестьянства в количестве пятнадцати миллионов человек и был сознательно срезан в 1929 году, срезан и выброшен в безлюдные тундры на мученья и гибель. Да и то, кого ни возьми теперь из наиболее одаренных, возьми да, как говорится, поскреби, сразу и увидишь, что все они — из случайно уцелевших: Борис Корнилов, Павел Васильев, Андрей Платонов, Твардовский, Фатьянов, Луконин, Абрамов, Астафьев, Алексеев, Распутин, Белов, Яшин...

Если же всерьез заняться бы изысканиями да статистикой, то набрали бы десятки имен не только в литературе, но и в смежных искусствах и в науке (в особенности), но, конечно, имен тех, кто случайно уцелел, а не тех, кто сознательно и злоумышленно был погублен. Тех имен мы не узнаем уж никогда.

Итак, верхний этаж дома, верх, листья, цветы и яблоки, результат многолетних, а точнее сказать, многовековых усилий дерева.

Ни пара, ни чада, ни гременья посуды, ни бульканья воды, ни помоев, ни мусора, ни уличных морозных клубов при каждом открывании двери, ни уличной обуви возле порога, ни тулузов на вешалке, ни ведёр с водой, ни теленка за печкой... Масляной краской

(темно-голубой) покрашенные стены, оштукатуренный, белоснежный, с фигурным обрамлением, потолок, цветы и красивая мебель, изразцовая печка, золоченые иконы в переднем углу, на полу яркие домотканые половички.

Чистота, тишина, а главное — праздность. Праздность и праздничность.

Дармоедов и бездельников не было в нашей большой семье. Даже дед Алексей Дмитриевич, которому по возрасту только бы так себе, поглядывать, как работают другие, а если помогать им, то разве лиць советом и общей распорядительностью, но даже и он со вставанием, то есть с рассвета, на ногах, на дворе, либо с метлой в руках, либо с вилами (перетрясти солому с сеном, чтобы получилась тряспенка), либо около поленицы, либо хворост тяпает на чураке, либо воду достает из колодца... Хватало дела всем — и сыновьям и дочерям Алексея Алексеевича (девчонки подростками уже бороновали, сенокосили, вороша сено, пололи грядки, теребили лен, прибиравались в доме, стояли на возу, когда убирали сено, либо подавали снопы отцу, стоящему на телеге, когда возили снопы...). Мне, четырех-пятилетнему, и то доставалось, хотя бы мешок подержать вместе со старшим братом (вернее сказать, подержаться за мешок), когда отец, вонзая и вонзая деревянный, отполировавшийся лоток в золотую груду зерна, наподдевает это зерно и бросает его с лотка в мешок, так что каждый бросок отдается словно бы ударом в слабые еще, но цепкие ручонки.

Но не такой уж всепоглощающей и всепожирающей машиной было наше крестьянское хозяйство. Оказывалася досуг, выпадало свободное время даже и в летние дни, не говоря уж про долгие зимние вечера. Одна из моих старших сестер (все в нашей семье старше меня, последыша, поскребыша) — гимназистка в губернском Владимире (после ликвидации Владимирской губернии сделали пространную ИПО Ивановскую промышленную область), другая, как раз в год моего рождения, упала с лошади и сильно ушибла позвоночник. Лежала в гипсе, но и после этого несколько лет не могла нагибаться, бегать, быстро ходить, а тем более работать. Вокруг нее — книги: Пушкин, Лермонтов (в хороших однотомниках с картинками), Алексей Константинович Толстой, Полонский, Апухтин... Внизу идет своя жизнь, а у нас наверху — тишина, покой. Дед водит огромной лупой по страницам Библии, а мы в другой комнате, не мешая ему, — с Катюшей. Вернее сказать, Катюша с книгами, а я возле нее, вокруг нее, вроде котенка. Для себя ли читала она все время стихи вслух или с учетом того, что и белоголовый мальчик находился возле, но спохватились, когда я вдруг, не умея еще читать и не зная еще ни одной буквы, начал декламировать наизусть целые страницы из «Демона», и «Тамару», и «По небу полуночи ангел летел», и «Русалку», и «Парус». Очень может быть, что, декламируя (и не выговаривая еще все слова), я не понимал смысла заученного наизусть с голоса Катюши, но помню, что было небо в черных и рваных тучах, и огромная, очень яркая луна среди этих туч.

Праздность и праздничность, — сказал я. И правда, в праздники оживал наш верх, раздвигался, вернее ска-

зать, раскладывался желтый лаковый стол. Раскладывался и накрывался белой скатертью. Снизу (где уже с вечера топилась печь и готовилась разная еда, начиная со студня, с заливной рыбы, с запеченной в тесте бараньей ноги, с шинкованной капусты и кончая домашним печеньем, пирогами и плюшками) принимались таскать тарелки и блюда. Расстановивались по белой скатерти рюмочки и графинчики. На лимонной корочке, на вишне, на рябине, на зверобое отцом приготовленные настойки. Бочонок медовой браги («кумушки») уже отбулькал, отбродил на печке три дня и теперь надежно остыжен в сенях. Скажем, если иметь в виду Покров, наш престольный праздник, то уже настолько прохладно, что не нужно этот бочонок ставить в воду, чтобы остудить, как это было в какой-нибудь летний праздник.

Отзвонили колокола к заутрени (а колокольня в пятидесяти или меньше шагах от нашего дома), отзвонили к обедне. Кто-нибудь из наших домашних поглядывает в окна: не отошла еще обедня, не отошла. Но вот на папертях появляются первые богомольцы и богомолки. По разным тропинкам пойдут они неспешно к своим небольшим уютным деревенькам среди наших уютных, живописных холмов. Но многие пойдут к разным домам и в нашем селе, и не только жители этих домов, но — гости. Потягивается вереничка гостей и к нашему дому. Из Шунова Буряковы — родня, с Броду Ламановы — родня, родня эта все больше по выданью. Туда выдана дочь Алексея Алексеевича, туда его сестра... Таким образом, может появиться в гостях и Александр Сергеевич Смирнов, тоже солоухинский зять. Но о нем и об этой мысленной по ландшафту линии от нашего дома до Пекши (теперь город Кольчугино) надо сказать особо.

Не знаю, почему и как получалось, но уже на уровне нашего деда Алексея Дмитриевича солоухинский род начал соединяться своими нитями с другими, не крестьянскими, сословиями. Так, родная сестра деда Дарья Дмитриевна вышла замуж в Нижний Новгород за богатого купца Капустина, а дочь деда (то есть, значит, родная сестра моего отца) Вера Алексеевна стала и вовсе дворянкой, поскольку ее сосватал петрищевский помещик Александр Сергеевич Смирнов. Именьице у них было в Петрищеве, но ко временам моего детства ни о каких именьицах речи, разумеется, быть не могло. Они жили в поселке Пекша (повторим, что теперь это город Кольчугино) в собственном деревянном домике, имея садик и огород. У них были две очаровательные девочки, Вавулька и Лика (Валентина и Лидия), мои, значит, кузины. Лика — одного года со мной, а Вавулька двумя годами постарше.

Связь нашего деревенского дома с домиком в Пекше была двусторонняя, но выглядела по-разному. Дядя Саша проходил к нам с Пекши 25 километров по прекрасной, тогда еще не измызганной, не замусоренной, не заросшей крапивой да бурьяном, не захламленной, не изрытой, не провонявшей соляркой, не разъезженной тракторами и тяжелыми машинами (особенно деревенские улицы), не отравленной разными гербицидами и пестицидами земле. И деревеньки по пути были еще все целые, не распавшиеся, обиженные, колоколенки и

церковки тоже все были целые, стояли словно игрушки на пригорках, да и звонили еще колокола вечерним звоном над затихающей предзакатной землей. Я думаю даже, что эта двадцатипятикилометровая прогулка и была главной целью дяди Саши. К тому же он очень любил искупаться в нашей тогда еще хрустальной речке, в омуте под названием «Лоханка». Как сейчас вижу его довольно, чтобы не сказать блаженное, лицо, в усах и очках, над черной гладью тихой воды. Но, конечно, и рюмка-другая домашней настойки (после такой прогулки и купания) тоже имели, наверное, для дяди Саши свою прелесть. Короче говоря, он очень любил навещать наше село, но исключительно пешком, исключительно в теплое, летнее время. Время тарантасов, летних дрожек и других экипажей осталось позади, там, где меня еще не было.

Отец, напротив (всегда и меня беря с собой), наезжал в Пекшу в осенне-зимние месяцы, на нашем Голубчике, запряженном (по сезону) либо в сани, либо в телегу. Скурлыкали мы с отцом эти двадцать, пять километров не целый ли день, и кончалась езда всегда одним и тем же. Отец говорил:

— Вот гляди, вожжи бросаю, Голубчик сам дорогу найдет.

И точно, не путаясь в городских (одноэтажных, впрочем) улочках, поворачивая где нужно, Голубчик привозил нас к дому дяди Саши и тёти Веры и двух очаровательных девочек — Вавульки и Лики, моих кузин.

Дядя Саша был мягчайший, добрейший русский интеллигент, душевный, с мягким юмором. Увидев дочку за уроками, он, например, говорил:

— Да ты, Вавулька, никак уроки учишь?

— Да, папка, учу уроки.

— Да брось ты их! Иди лучше гулять. А ты в школу разве еще ходишь?

— Конечно, хожу.

— И школу брось! Такая небось скучища. Играть с девчонками разве не интереснее?

— Да, папка! Послушала бы наша учительница, что ты мне говоришь...

— Конечно, твоей учительнице уже не время с девчонками бегать, вот она вас и заставляет на уроках сидеть. А ты брось!..

Такие слова он говорил, полагаю, только старательной Вавульке, но невозможен был бы такой же разговор с Ликой, которая и без того так и норовила забросить уроки и бежать к подружкам на улицу.

Что мог делать русский интеллигент, уцелевший в первые годы советской власти и не уехавший за границу? Идти в бухгалтеры. Дядя Саша и работал в бухгалтерии какого-то омерзительного леспромхоза, пока его визави по бухгалтерской комнатенке не донес на него за какой-то анекдот. На этом закончилась жизнь дяди Саши, Александра Сергеевича Смирнова.

Но в годы моего раннего детства он еще жил, шутил, внезапно в теплое летнее время появлялся у нас в Алепине, блаженно кряхтя, плавал в речке, выставив поверх воды черные усы да черные же очки, ибо был близорук.

Я завел разговор о дяде Саше, вспоминая гостей в алепинском доме в престольный праздник, скажем, в

Покров. Но сейчас думаю, что, пожалуй, едва ли мог тут быть дядя Саша. Почему-то в составе многих гостей за многолюдным столом я его не помню, а помню всегда одного, как идет он, словно прогуливается, сначала по тропинке от «Негодяихи», потом через луг на том берегу реки, потом поднимается в гору от реки к селу... Уж если таких людей боялась и истребляла, охраняя себя, установившаяся власть... Впрочем, логика здесь была. Ведь ей, установившейся антинародной, антироссийской власти, важно было по возможности избавиться от всех лучших, всех хороших людей.

По большим праздникам стол для гостей накрывали наверху. Значит, за этим же столом и произошло маленькое курьезное событие со мной, которое вижу почему-то как бы со стороны. Наверное, несколько раз мне о нем рассказывали, когда я был еще совсем маленьkim, и картинка укрепилась в моей памяти, как будто я это видел, а не был главным действующим лицом.

Оказывается, я долго не мог бросить материнскую грудь. Ну, скажем, если это был Покров, то мне уже один год и четыре месяца. И вот во время праздничного застолья мать берет меня на руки, а я лезу ручонками к ней, требуя своего. Тут кто-то и пошутил (это как раз мог быть дядя Саша или Михаил Григорьевич Ламанов, наш зять с Бороды, тоже шутник):

Да как ему не стыдно, такому взрослому мужику, грудь сосать! Ему кумушку<sup>1</sup> пора пить. Ну-ка, дай-ка ему кумушки вместо молока...

Мать зачерпнула в чайную ложку кумушки и в тот момент, когда я должен был вот-вот дотянуться до вожделенного, вылила ее мне в рот. Будто бы я закашлялся и расплакался, но грудь с тех пор больше ни разу не требовал и не брал.

Теперь я иногда и сам шучу, что переход к алкоголю совершился у меня непосредственно от грудного молока.

Потом отшумит застолье. Впрочем, как это отшумит? Ну, поговорят, конечно, степенно и негромко, а может быть, даже песни попоют, но без теперешнего ора («ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала»), но настоящие песни. Тогда многие ведь по-настоящему умели петь, потому что церковь привносила настоящую музыкальную культуру, в церкви вразнобой орать не будешь, там надо именно петь, и мать моя Степанида Ивановна пела особенно хорошо. «Плещут холодные водны», «Вот всыхнуло утро, румянятся воды», «Что затуманилась, зоренька ясная», «В низенькой светелке», «Стонет сизый голубочек», «Не осенний мелкий дождичек», «Не шей ты мне, матушка», — вот песни, которые пелись у нас в доме. А потом отшумит, отгомонит застолье, грязную посуду всю унесут вниз, и наверху опять установится благостная тишина. Дед над Библией, с огромной лупой на черенке, да мы с Катюшой над книгами.

Было бы несправедливостью, если бы я стал утверждать, что внизу были только горшки да коровье пойло, охапки дров да квашня, а поэзия вся была исключительно наверху.

Лежа на печке рядом с матерью (в редкие случаи ее досуга), я тоже слушал стихи, но пристрастия у матери

с Катюшой были разные. Немного торопливым, немного захлебывающимся голосом, сминая некоторые слова и строки, мать читала мне (наизусть, в отличие от Катюши, вооруженной красивыми книгами) про дядю Власа, бродящего по Руси и собирающего на храмы Божии, дабы замолить грехи, про несжатую полоску ржи и прочее, как

Вечер был, сверкали звезды,  
На дворе мороз трещал,  
Шел малютка по деревне  
Посинел и весь дрожал.

Шла старушка той деревней,  
Увидела сироту,  
Приютила и согрела  
И поесть дала ему.

На теплой-то печке, когда за окном и правда трещал мороз, в самый раз было воспринять младенческой душе первые уроки сострадания, добра...

Вверху, там где цветы, лампа-«молния» и зеркало с подзеркальником: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Вверху: «Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод... Дитя, подойди к нам поближе, тебя мы научим летать, дитя, подойди, подойди же, пока не проснулася мать». Вверху: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром», вверху: «Утро туманное, утро седое»... Внизу, где теплые печные кирпичи под тобой и тараканы шевелят усами из темных углов: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой», «Что ж ты спиши, мужичок, уж весна на дворе, уж соседи твои работают давно». Внизу: «Ты все пела, это дело, так поди же попляши». Внизу: «И дают, дают прохожие. Так из лепты трудовой вырастают храмы Божии по лицу земли родной».

Стихи разные, а народ, их породивший, — один, и дом — один, и крыша одна, и я сам — тоже один.

## 10

— Ты думаешь, Бог-то где? Только на небе? А Он, оказывается, везде, — внушила мне моя мать Степанида Ивановна. — Он прикинется нищим, Мишкой зельниковским, попросит у тебя милостыню, ты дашь ему кусочек хлебца. Ты будешь думать, что Мишке зельниковскому хлебца-то дал, а, оказывается, это был сам Иисус Христос. На Страшном суде Он тебя сразу узнает, улыбнется тебе. «Этого мальчика,— скажет Он,— я знаю. Когда я голоден был, он мне хлебца кусочек дал... А то Он прикинется беспомощной старушкой, которую озорные мальчишки обижают, насмехаются над ней. Ну, а ты за нее заступишься. Ты будешь думать, что за старушку заступился, а это был сам Иисус Христос. Голодного — накормить, жаждущего — напоить, страдающего — утешить, слабому — помочь, падающего — поддержать, работающему — пособить, зябнущего — обогреть... Это все равно что самому Иисусу Христу

<sup>1</sup> Кумушка — медовая крепкая брага.

служить. А Он все видит, обо всем знает. А как ты предстанешь перед Страшным-то судом, как будут тебя за разные плохие дела судить...

А я не буду плохих дел делать...

— Не зарекайся. Жизнь длинная. И лукавый соблазнитель всегда ведь рядом с тобой, постоянно будет тебе на ухо дурные советы нашептывать. Нет-нет да и поддашься ему. Обидишь кого-нибудь, поленишься что-нибудь сделать, не приведи Господи, неправду скажешь, обманешь, не приведи Господи, чужое возьмешь, ударишь кого-нибудь, да хоть бы и кошку... да мало ли в жизни будет дурного и злого... И вот как ты предстанешь перед Страшным судом, как будут тебя за разные плохие дела судить, так Господь-то тебе улыбнется и скажет: «Этого мальчика я знаю. Когда я голодным был, он мне хлебца дал, когда я жаждал, он мне водички дал, когда меня обижали, он за меня заступился, когда я в рекетонул, он мне руку подал, когда я тяжелую ношу тащил, он мне помог, когда я падал, он меня поддержал... Это хороший мальчик, место ему — в раю». Ты скажешь ему: «Господи! Да я Тебя вижу первый раз». «Нет, ты меня много раз видел,— возразит Господь.— Ты за старушку заступился, а это был я, ты жаждущего напоил, а это был я, ты нищенке милостыню подал, а это был я...

— Господь,— продолжала мать,— каждый твой шаг видит и даже что ты думаешь — знает. Он и хорошее видит и плохое. Ты уж старайся хорошее все делать. И Ангел-хранитель у тебя за правым плечом стоит, и его огорчать не надо. Он каждому твоему добруму делу рад, улыбается и смеется. А бес за левым плечом в это время морщится и корчится. А когда ты плохо поступишь, бес хихикает и руки потирает. Зачем же беса-то радовать?

Если иметь в виду, что Степанида Ивановна вышла замуж в семнадцать лет (а у мужа-вдовца, двадцатисемилетнего Алексея Алексеевича, уже двое детей на руках), то по грубой, приблизительной прикидке двадцать тысяч раз поднималась Степанида Ивановна до свету, первой в доме, чтобы растоплять печь, заниматься стряпней, скотиной, хозяйством. Но сначала — молиться. Еще полуодетая, в белой рубашке, перед огоньком лампады, освещющей образа на киоте в переднем углу, на коленях, шепча с глубокими вздохами двадцать тысяч страстных, сердечных утренних молитв, пока все еще спят, прежде чем начать греметь ухватами и чугунами, двадцать тысяч тихих — шептом, с глубокими вздоханиями, на коленях — разговоров с Богом, просьб, молений, восхвалений, благодарений. Но главное, видимо,— единение с Богом, слияние с ним душой и сердцем, отсюда и слезы на глазах после каждой молитвы, и умиротворенность, просветленность, выливающаяся каждый раз в одну и ту же фразу, формулу, завершение: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе».

Двадцать тысяч молитв по утрам да еще столько же по вечерам, перед сном. И если в ранние дорассветные часы я — младенец — еще сладко и крепко спал (разве что случайно, при верченье с бочкой на бочок, приоткроются на мгновенье глаза и, словно при моментальной фотографии, отпечатается полутьма дома, огонек лампады перед иконами, мать на коленях в белой рубашке), то на вечернюю молитву мать часто ставила

меня рядом с собой. Тоже на коленях, тоже крестясь, тоже что-то шепча (но, наверное, не длинную сложную молитву, а лишь какую-нибудь одну молитвенную фразу, какие-нибудь два-три слова), я больше вслушивался в шепот матери, нежели молился сам, но все равно некая сладчайшая сладость охватывала душу младенца, до спазма в горле, до горячей волны около сердца, до слез на глазах. Но иногда (и это были особенно сладостные моменты) я, вот так-то поворачиваясь с бочки на бочок и приоткрыв на мгновенье глаза и увидев, словно при моментальной фотографии, огонек лампады в полутиме дома и мать перед иконами в белой рубашке,— я преодолевал крепость детского сна, тепло постели, вставал и опускался на колени рядом с матерью. Эти утренние молитвы (может, еще и потому, что связанны были как-никак с жертвой, преодолением самого себя) были особенно сладостны, и вечерние молитвы не могли с ними сравниться. К тому же еще дневная суетность не отступала совсем, нужно еще ее преодолевать, на зеркале души еще круги, как на воде — после брошенных камешков, не сразу они пройдут, не сразу успокоится и устоится чистая водная гладь, а утром... утром все тихо, умиротворенно и сам ты (четырех-пятилетний) почти что — ангел.

Представляете ли вы эту картину: женщину и ребёночка, и чтобы они стояли на коленях в полутиме избы перед лампадой, освещющей иконы, и молились, молились...

Со слов матери (в ее упрощенном, но зато весьма доступном изложении) я знал уже в это время многие библейские истории. И сон Иосифа (семь тучных и семь тощих коров), и про строительство Вавилонской башни («Они хотели такую башню построить, чтобы до Бога добраться, а Бог смешал им языки, один говорит: принеси мне гвоздей, а тот несет глину, один говорит: принеси мне молоток, а тот несет воду в кувшине. Так у них ничего и не вышло»), и про жену Лота, обращенную в соляной столб за то, что не вытерпела и оглянулась на горящие Содом и Гоморру, и про суд Соломона с двумя матерями, спорящими из-за ребенка, и про доброго самаритянина, помогшего больному на дороге, но, конечно, наиболее проникновенно и подробно была рассказана мне не однажды история Иисуса Христа.

К тому же случился в нашем доме набор открыток. (По странной случайности, теперь, когда ничего уже не осталось от старого дома, обихода, быта, утвари, мебели, посуды, одежды — ни одной, ни одной вещи, эти открытки уцелели, хотя, вероятно, и не все.) В эту минуту я перебираю их, обтрепавшиеся по краям, надломленные, так что две половинки едва-едва держатся друг за друга. У открыток желтые поля, а на полях надписи на нескольких языках: на французском, русском, английском, греческом и еврейском, а на некоторых еще и по-итальянски. В правом нижнем углу явственно проставлены номера, в уцелевшем моем наборе они идут вразнобой: 2, 4, 7, 18, 39, 43, 60... Старше шестидесятого номера нет (а всего уцелело двадцать штук), и значится под 60 номером почему-то «Земной рай», с которого должно бы все начинаться. Ну, дерево с толстым красноватым и узловатым стволом, под деревом сидят обнаженные Адам и Ева, озеро невдалеке,

другие деревья, свисают лианы, пасутся животные: жираф, слон, козел. Журавль... У ног Адама и Евы, быть может, львенок. Вообще открытки выполнены в манере, сочетающей в себе долю условности, примитива с достоверностью фотографии. Скажем, если город Яффа или город Наплуз (Сихарь или Сихем), то при всей простоте изображения веришь, что каждый изображенный домик существовал на самом деле, на том самом месте, с теми самыми окнами. А если гора Фавор, то дорога вьется по ней от подножия к округлой вершине точно такими зигзагами, и монастырь на ней точно такой (по силуэту), хотя если подумать о масштабе, то изображенная дорога должна бы быть в реальности не с Волгу ли шириной? А вот «Тайная вечеря», а вот храм Марии Магдалины, вот Гроб Господень, несение креста, снятие с креста, осмияние Спасителя, положение во гроб, молене о чаше, Гефсиманский сад со старым дубом в середине открытки. На каждой открытке дополнительная надпись по-русски: «Благословение св. града Иерусалима».

У деда был еще коралловый крестик со стеклышиком в перекрестьи. Если посмотреть, закрыв один глаз, то и там увидишь вдруг в чудесном, неожиданном увеличении тот же дуб в Гефсиманском саду.

Никаких сомнений в достоверности всего происходившего на библейской земле в библейские времена и всего происходившего с Иисусом Христом у меня не было. Не только сомнений, но и тени сомнения.

Из внешней обрядовости, к которой приучила меня Степанида Ивановна, на первое место надобно поставить разные посты и говеня. Одно дело — не есть скромного. Не так уж трудно это было в то время, если перед Рождественским, скажем, постом, отец нарочно ездил во Владимир (Голубчик, запряженный в розвальни) и, возвратившись, доставал из-под клевера мороженых огромнейших (или такими казались?) судаков, крупную вяленую тарань, консервные банки (осетрина в томате, и кажется, не могло быть ничего в мире вкуснее этих консервов; вероятно, из-за городского их, а не деревенского, не домашнего происхождения), селедку (зайдом), сухие компоты. Кое-какие сушеные яблочишко могли быть свои, но чернослив, изюм и урюк, а также сушеные груши, из которых получался вкуснейший грушевый квас, отец привозил из Владимира вместе с мороженой рыбой. Льняное (постное, значит) масло, как помним, было фактически свое («Леня, погляди в окно, крутится ли мельница у Григория Ивановича»), равно как разнообразные грибные припасы. Свой же был (как помним) и мед. Пареная капуста, гороховый кисель, пироги с морковью, репой и картошкой, грибная лапша, мороженые яблоки (оттаивая, становятся темно-коричневыми из восковых, мягкими, сочными, со сдирающейся кожицеей), квашеная капуста, соленые огурцы (с картошкой), красная свекла... Все это (прибавить мороженых судаков и прочее) делало Рождественский пост практически незаметным. Ну, соскучишься по горячей лепешке с молоком, по яичку всмятку, это все пустяки. Великопостных страданий и томлений, по правде сказать, тоже не помню. Зато хорошо помню сочельники, когда целый день совсем ничего нельзя было есть до первой звезды.

Как ни короток зимний день, но если даже и не позавтракал, то набегаешься, начиная с ранних сумерек, на улицу, взглядывая на небо: не загорелась ли там первая, хотя бы и слабенькая звездочка, да еще хорошо, если ясно небо кончающегося солнечного морозного зимнего дня, когда вот-вот и не одна слабенькая звездочка, а целые пригоршни, целые россыпи звезд алмазно украсят небесный свод. Если же пасмурно и метель, если пасмурно и мягкий медленный снегопад, если просто пасмурно без метели и снегопада, то все отдается на усмотрение матери, она должна решить — зажглась ли в облачной мгле, вернее за облачной мглой, первая звезда и можно ли уже разговаривать. Не думаю, чтобы Степанида Ивановна искусственно затягивала мое говене, всего скорее — наоборот.

Что же следовало за тем моментом, когда звезда все-таки загоралась? О! Этого нельзя передать никакими словами. Уже заранее напечены сочни (что-то среднее между блином и лепешкой, потоньше лепешки, но величиной с хороший блин, то есть во всю тарелку), уже заранее сварен горох (не суп, не размазня, не гороховая жижка, а крутой горох), который кладется на сочень, сворачиваемый потом в трубку, и вот этот свернутый сочень с крутым горохом внутри нужно есть, запивая его непременно квасом. О, о и о!

Во дни говений не требовалось прислушиваться к шепоту Лукавого, беса, который из-за левого моего плеча соблазнял бы меня нарушить говене и тайком слизнуть чего-нибудь скромненького, запретного. Искуситель сидел тут же передо мной в образе моего старшего брата Николая (если мне, скажем, пять лет, то ему уж — шестнадцать). Он, значит, ходил уже в школу, в советскую школу, сначала в нашу сельскую, начальную, по четвертый класс, а потом в Черкутино в ШКМ (школа крестьянской молодежи, и почему-то я вздрагиваю при сочетании этих букв, как если бы ненароком дотронулся до крысы); и мог уж окончить ее (или вот-вот оканчивал), и, значит, мозги его были уже частью заморожены, анестезированы, стерилизованы, а частью забиты грубой, дешевой, но, увы, действенной и повсеместной тогда пропагандой. Там, в школе, записался он в кружок воинствующих безбожников. Ну, особенно развоеваться в нашем доме ему не удавалось. Был еще жив дед Алексей Дмитриевич, был еще не напуган предстоящими преобразованиями (как это случится через два года) отец Алексей Алексеевич, а у них не очень-то повоюешь. Однако попытки иконоборчества со стороны Николая, кажется, были, едва ли не пытался он однажды вынести все иконы на чердак, но, повторяю, попытки эти были безуспешными, если не плачевными. Впрочем, как я теперь понимаю, был тут установившийся «статус-кво». Родители ничего не позволили бы совершить Николаю в доме, но они не только не препятствовали школьному воспитанию молодого безбожника, но и ни малейшим образом духовно, воспитательно, назидательно не противостояли ему. (То же самое произойдет со мной через 2—3 года, когда и я пойду в школу.)

И вот четырех-пятилетний, я, приучаемый матерью к молитве и говеню, стал главным объектом и полем деятельности воинствующего безбожника Николая.

Во-первых, он сам на глазах у меня, демонстративно

смакуя и чавкая, ел то, чего не мог есть я. Во-вторых, видя, что есть мне очень хочется, говорил:

— Эх, Вовка! Хорошо бы сейчас горячую пекушку с молоком... А то еще масляный блин. А то еще, если палец запустить в горшок со сметаной. Давай, а? Я знаю, где горшок со сметаной стоит, давай!..

Но надо сказать, что я тогда ни разу не поддался соблазну, и за левым плечом у меня в те времена, по крайней мере по этому поводу, ни единого раза не хихикнули.

Конечно, брали меня и в церковь. Сам по себе переход из деревенского, так сказать, антуража, где избы, хлевы, тропинки, лужайки, русские печки, низкие потолки, лавки, заставленные кухонной утварью, хомуты да тулуны, семишинейные керосиновые лампы,— переход от всего этого в каменный храм с каменным, орнаментом изукрашенным полом, с паникадилом, пылающим десятками свечей, со сверкающими подсвечниками, с резным, позолоченным иконостасом, с куполом, как бы заменяющим само небо, с яркой росписью по стенам, был переходом в другой мир, в другое, как теперь сказали бы, измерение. Но если говорить о памяти, о реальной памяти, а не дорисовывать своих впечатлений на основании более позднего опыта, то от самых младенческих лет осталось лишь ощущение крестика теплым маслом на лбу (во время елеепомазания, значит) да тепленький, сладенький винный вкус причастия из маленькой серебряной ложечки.

Но вот я должен теперь написать о том, о чем должен, но о чем практически невозможно написать. Это было, должно быть, несколькими годами позже описываемого раннемладенческого возраста моего. Наверняка я уже ходил в школу (и, следовательно, не ходил больше с матерью в церковь), наверняка мне было уже семь восемь лет. Мы, алепинские мальчишки, любили играть в разные игры в ограде, около церкви, даже и на церковных папертях. Причем собирались тут и старшие мальчишки, чуть ли не парни, и подростки, и малыши. Может быть, и не всегда обязательно играли, а собравшись, сидели на папертях, разговаривали.

Мальчишки постарше разговаривают между собой, или мастерят самоделки (стрелять толчеными спичечными головками вместо пороха), или обсуждают набег на чай-нибудь сад, или уговариваются завтра идти в лес петь картошку в углях костра, а мы, совсем маленькие мальчишки, присутствуем тут, слушаем, не вмешиваясь в разговор, тем более в дела более старших. Могли тут более старшие для своей забавы стравить нас, малышей, на «любака», то есть заставить драться между собой, могли сидеть на папертях и вырезать свистки из только что «отсочавших» весенних ветвей ветлы или черемухи, мало ли...

И вот помню период (и — подчеркиваю — не один вечер), когда сидели так вот, на церковных папертях, и уже темнело, уже сумерки превращались в теплый вечер, как вдруг меня начинало неудержимо тянуть войти в церковь и остаться там на всю ночь. Церковь-то, конечно, на тяжелом замке, и в нее никак не возможно было бы войти, да ведь и страшно должно было быть мальчионке ночью в церкви, а меня — *неудержимо тянуло*. Мне казалось, что там, внутри ночной церкви,

меня кто-то *очень любит и очень ждет*. Мне казалось, что если бы я остался в церкви на ночь, мне было бы сладостно и хорошо, так хорошо, как не может быть здесь, снаружи. Да, меня там очень любят и очень ждут, а я не могу туда войти, а я здесь с мальчишками.

Представьте себе, читатель, эту ватагу деревенских мальчишек, сидящих в темноте на церковных папертях. Это представить себе не трудно. Но представьте себе теперь, что одного из них тянет войти в ночную церковь и остаться там на всю ночь, потому что там его якобы очень любят и очень ждут...

Материализовалось ли это безлиное «любят и ждут» в образ Божьей Матери? Или в образ Иисуса Христа? Я не помню теперь, не знаю. Я помню теперь только ощущение, что меня там очень любили и очень ждали.

## 11

Очень часто у матери срывалась с уст фраза: «Ну вот, а ты говоришь — Бога нет!» Тут не важно, что я никогда не убеждал ее в отсутствии Бога. По-видимому, она предполагала, что все вокруг так думают, а скорее всего, видя в действительности результаты своих молитв или промысла Божия, проявившегося даже сверх ее ожиданий, она невольно прибегала к этой излюбленной формуле: «Ну вот, а ты говоришь — Бога нет!»

Ну, положим, рассказал я ей про эпизод, произшедший с нашим взводом. Мы стояли тогда в летнем лагере в селе Новая Купавна, что вытянулось по обеим сторонам шоссе Москва — Горький, на тридцать третьем километре от Москвы. После часа отдыха (послеобеденный сон) наш взвод пошел на занятия по рукопашному бою. Вел взвод старшина Карасенко, украинец, с прекрасным и звонким голосом. Шли по обочине горьковского шоссе, несли фашины (колоть), болванки винтовок со штыками (чтобы не портить настоящие штыки и винтовки), шли в колонну по четыре, так что каждое отделение составляло свою колонну. Наше четвертое отделение шло слева, ближе других к асфальту, можно сказать, по кромке обочины и асфальта. Наше отделение (ротные минометчики) было на несколько человек больше других. Скажем, в других по 9—10 человек, а в нашем 14. Значит, если выстроить взвод в колонну по четыре, так, чтобы каждое отделение и было колонной, то наша, самая левая колонна, оказалась бы «с хвостиком», длиннее остальных на 4 человека. Обычно следовала команда: «Четвертое отделение — разобраться!» Это означало, что наш «хвостик» должен распределиться по трем остальным колоннам, и тогда строй взвода будет представлять собой правильный прямоугольник, без «хвостика». «Разобрались» мы и на этот раз. Я, шедший самым задним, самым последним, перешел из крайней левой колонны в самую правую — от колонны, самой близкой к асфальту, в колонну, самую близкую к кювету.

Мы шли еще вялые, сонные. Короток послеобеденный час отдыха, только-только согреешься и сомлеешь, как раздается команда: «Рота, подымайся!»

Старшина Карасенко первым преодолел вялое состояние свое и скомандовал:

— Запевай!

Запевала наш запел, но тоже как-то вяло, неэнергично, так что не хотелось даже подхватывать песню.

Эх вы! — укорил нас старшина Карабенко.— Разве так запевают! — И запел сам. Голос его взлетел высоко, звонко, бодро. Еще секунда, и мы бы дружно, громко грянули саму песню и тогда, возможно, не произошло бы того, что произошло в следующее мгновенье: шофер от нашей песни, вероятно, проснулся бы.

Надо сказать, что мы шли по обочине, а мимо нас шла и шла, обдавая нас горячими порывами ветра и порциями шума, многосотенная колонна тяжелых «студебеккеров». И вот, когда мы через секунду подхватили песню, очередной «студебеккер» врезался в строй нашего взвода.

Они шли с фронта куда-то на восток (за военными грузами, надо полагать), и молоденький шофер уснул за рулем.

Старшине Карабенке пришелся удар передом машины, радиатором (ведь он шел левее всех нас, по кромке асфальта), а наше отделение правым бортом машины срезало начисто, и первым, если бы не перешел в правую колонну, предстояло быть срезанным мне, как шедшему сзади.

Услышав эту историю, Степанида Ивановна воскликнула, подняв глаза к небу:

— А ты говоришь — Бога нет!

Вспоминаю и второй случай. Но тут надо сделать отступление.

У нашего семейного дерева была еще одна ветвь, необыкновенная, романтически-экзотическая. Брат моего отца, Михаил-Алексеевич, вообще был, по-видимому, человеком с романтической жилкой. Он, кажется, даже писал стихи, от которых, к сожалению, не сохранилось ни строчки. Он собирал коллекцию камней, что для деревни и для крестьянина вовсе уж ни на что не похоже. Впрочем, выше говорилось, что верхний слой российского крестьянства уже прорастал в предреволюционные годы свежими и сочными ростками в вышележащий слой русской культуры, интеллигенции.

Наш лес, называемый Самойловским, прорезают глубокие буераки, по дну которых струятся родниковые ручейки, впадающие в лесную же речку Езу. На дне этих буераков и по самой Езе Михаил Алексеевич искал и собирал редкие камни, окаменелые пресноводные кораллы и всякие прочие окаменелости. Впоследствии, когда Михаила Алексеевича уже не было в наших местах и в нашем доме, корзина с этими камнями все еще стояла на чердаке. От всей коллекции остался теперь только один экспонат, и то не потому, что сохранился на чердаке, а потому, что попал мне под заступ, когда я на месте бывшего нашего двора сажал вишневое деревце. Теперь этот камень (именно окаменевший пресноводный коралл) лежит у меня на столе в московской квартире.

Михаил Алексеевич служил (как говорилось в те времена) на железной дороге не то контролером, не то ревизором. На сохранившейся фотографии в кругу сослуживцев их всех можно принять по виду, по одежде, по достоинству в лицах за директоров, скажем, банков, за артистов императорского театра, за президентов разных государств, собравшихся вместе.

Несмотря на такой презентабельный вид, Михаил Алексеевич полюбил молодую украинку из Полтавы. Я говорю «несмотря на...» потому, что она, украинка, была, видимо, из простых украинских девушек, ибо всю остальную жизнь они прожили в Полтаве в скромном беленьком доме, то есть в мазанке. Звали ее Татьяной. У них был сын Женя, красавец (сужу по фотографии), как это часто бывает при смешении двух, пусть и самых близких, родственных кровей. Он, военный летчик, погиб в самом начале войны. Наши, отступая, не успели взорвать в Калинине мост через Волгу и задним числом отчаянно пытались его разбомбить. Ну, а немцы уж по-настоящему его охраняли. Над этим-то мостом в числе многих и погиб Евгений Михайлович Солоухин, красивый молодой парень из Полтавы.

(По иронии судьбы этот старый и красивый мост — украшение бывшей Твери — мне впоследствии, как поборнику старины, пришлось отстаивать перед калининскими властями, все время намеревающимися его сломать.)

Но мы слишком перескочили во времени. В последние предреволюционные годы и в первые послереволюционные годы в нашей семье просто знали, что где-то в Полтаве живет в мазанке дядя Миша, а Полтава эта для маленького села, затерявшегося среди владимирского ополья, казалась, наверное, за тридевятью землями, за семью морями, и конечно же на Голубчике моему отцу (как езживаля он в гости на Пекшу к дяде Саше) никогда бы не доехать.

В первые послереволюционные годы большевики, захватив власть в стране и дабы удержать эту власть, отняли у крестьян весь хлеб. Это называлось продовольственной политикой. Смысл ее заключался в том, чтобы весь хлеб сосредоточить в своих руках и, распределяя по своему усмотрению, тем самым держать население в покорности. По всей стране начался голод. И вот рассказывает Степанида Ивановна:

«Последнюю горстку муки истратила, больше уж ничего и не осталось. До нового хлеба не на чем и тянуть. А ведь — дети. Ну, тебя еще не было. Мария только что народилась, Виктору три годочка, Николаю — шесть, Катюше — одиннадцать, Валентине — двенадцать, Тоне — тринадцать, Клавдии — пятнадцать. Сколько ртов... Ну, нынче еще поедят, а завтра? Завтра тоже есть захотят. Вдруг видим, едут какие-то чужие люди через село. Три подводы. Остановились около нашего дома, спрашивают:

— Где тут Лексей Солоухин живет?

— Здесь живет.

Тогда с одной подводы сваливают они два мешка муки.

— Это вам из Полтавы.

— Да как же так?

— Очень просто. Ездили мы на Украину за мукой. Спрашивали у нас один человек на краю Полтавы: «Чьи будете?» — «Владимирской губернии», — говорим. «А не слышали ли вы такого села — Алепина?» — «Как это не слышали! В двадцати верстах от нашего села. Через Алепино ехать придется». Ну, этот человек и попросил нас взять для Лексея Солоухина два мешка муки. Брат будто бы Лексею-то, правда ли?

— Правда, правда...  
— Тогда получайте, довезли.

— До нового хлеба дотянули,— говорила мать. И добавляла, поднимая глаза к небу: — А ты говоришь — Бога нет...»

Но и правда, сколько же тут всего переплелось! В последний критический день, в день отчаянья — сваливаются на траву около дома два мешка муки из неизвестной Полтавы. Мужики на телегах пробрелись туда, в Полтаву. Надо, чтобы они попались на глаза Михаилу Алексеевичу, надо, чтобы он с ними разговорился (мало ли ездят мужиков на лошадях, запряженных в телеги), надо, чтобы он им доверился, надо, чтобы они взяли эти два мешка (на лошади, на телеге, каждый фунт тянет в какой-то дальней дороге), ведь лучше бы себе еще два мешка привезти, надо было пробраться через пол-Украины и пол-России, надо было не присвоить эту муку (кто бы их проверил, когда и как?), надо было проезжать мимо нашего дома в тот день, когда кончилась последняя горстка муки...

Тут и совпадения, тут и случай, тут и совесть, тут (возможно, и права Степанида Ивановна) и промысел.

12

Я уж обмолвился в этих своих записках, что все Солоухины были темноволосые, белозубые, темноглазые, кучерявые, прямоносые, а все Чебуровы (по материнской родне) — на голове солома, нос картошиной, глаза голубые.

Алексей Алексеевич был настоящий Солоухин. Никто из них, между прочим, в отличие от Чебуровых, не полнел к старости, сохранял поджарость, если можно говорить про поджарость кряжистых (но и высоких), тяжелых в кости, наделенных изрядной физической силой мужей.

Как известно, оглобли к розвальням прикрепляются специальными толстыми веревками, завязанными особым узлом. Называются эти веревки закрутками. На морозе эти закрутки каменеют. Так вот, Алексей Алексеевич при тридцати градусах мороза (во всяком случае, ниже двадцати), если такая закрутка лопнет, разминал ее в руках, так что текла из нее вода, завязывал новым узлом, после чего она опять тотчас же каменела.

Как ни странно, не больше ли других запомнилась мне его повадка: если за обеденным столом (или во время завтрака, ужина, одним словом — еды) надо ему что-нибудь сказать самому, то он при всеобщем молчании (потому что вот-вот ответит и скажет) истово, не торопясь, прожует до полной чистоты рта и только тогда уж скажет, ответит.

Не менее неторопливо, не менее истово делал он и все остальное. Когда бывали блины, то мать на стол подавала их на одной тарелке высокой стопкой, а были они большие, во всю тарелку. Резать блины за столом мог только старший, то есть опять же Алексей Алексеевич. Вот он пододвигает тарелку с блинами к себе. Придерживая их вилкой, разрезает пополам (по диаметру, можно бы сказать), потом неторопливо поворачивает

тарелку на четверть окружности и еще раз режет стопку опять пополам. Блины оказываются разрезанными на четыре части, тарелка с ними возвращается, и все мы, сидящие за столом (а нас много), начинаем их есть, беря строго по одной четвертинке. Прихватишь сразу две и схлопочешь деревянной ложкой по лбу. Это действие мог произвести не только Алексей Алексеевич, но и дед Алексей Дмитриевич, у него была крепкая кленовая ложка, и он ухитрялся дотянуться ею до самого отдаленного края стола.

Особенно истово и неторопливо Алексей Алексеевич увязывал воз перед дальней дорогой. Впрочем, особенно дальних дорог тогда быть не могло. Я думаю, что дальше Владимира (сорок верст) Алексей Алексеевич на своем Голубчике не заезжал. О поездках на Пекшу (в теплешний город Кольчугино) мы уже говорили. Еще могли быть поездки на станцию. Нашей железнодорожной станцией была станция Ундол, Алепино отстояло от нее на 25 верст. Уже некоторые мои сестры жили в Москве, уже мать езжала к ним погостить (к тому же и родная сестра матери, тетя Катя Полунина, тоже давно — москвичка), а сами сестры в летнее время могли приехать в деревню во время отпуска, а потом им нужно ехать обратно. По каждому такому поводу нужно запрягать Голубчика и ехать на станцию. И вот каково было движение, тогда в нашей местности. В нетерпеливом ожидании гостей залезали на колокольню и смотрели в ту сторону, откуда могли они появиться. Среди высокой ржи, километрах еще в двух-трех от села, начинает виднеться дуга, сама лошадь: едут, едут! Скорее бежим домой, сообщаем матери, чтобы ставила самовар.

У отца не было какой-нибудь особенной специальности, которая часто совмещается с крестьянской работой. Бывали же крестьяне кроме того плотниками, столярами, печниками, шорниками, резаками (резать скот), кровельщиками, пильщиками (резать бревна на доски), да мало ли... Никакой особой крестьянской специальности Алексей Алексеевич не имел, он был просто крестьянин, то есть пахарь, косец, дровосек, но более всего он был ездок на Голубчике. Тут не имеется в виду, что он на том же Голубчике возил и снопы, и сено, и дрова, и солому, и все, что нужно возить по крестьянскому хозяйству, а имеется в виду то, что он больше всего на свете любил дорогу. Вероятно, первые его поездки были связаны с тем, что нужно было отвозить во Владимир те круги из желтого чистого воска, о которых шла речь в одной из глав этих записок, то есть продукцию нашей маленькой воскобойни.

Нужно было и сырье для этой воскобойни — вощина. Возможно, в поисках вощины нужно было колесить на Голубчике по отдаленным местам. Поездка в Караваево на Успенский день, поездки на ярмарки в Юрьев-Польский, в Кузьмин Монастырь, на базары, вообще в город за какими-нибудь покупками. Так или иначе не было в нашем селе другого крестьянина, который столько же ездил бы, как Алексей Алексеевич. Остальные все по сравнению с ним были, можно сказать, домоседы. Лошадь он никогда не понукал, не погонял (хотя кнут всегда под рукой, на видном месте), а шла она как идется, поэтому путь, который мог бы занять несколько часов, занимал сутки. Видимо, для отца была важна не

столько цель поездки, сколько сам процесс езды, сама дорога, само тарахтенье телеги (скрип саней); само медленное проплыивание по сторонам перелесков, деревень, ровных полей, кустиков среди них, пологих холмов, всей нашей неброской, но милой, родной земли, само; вернее всего, уединение.

Значит, не на первом ли месте у Алексея Алексеевича была поговорка «тише едешь — дальше будешь»?

Вообще же в моей памяти осталось несколько поговорок, которые любил повторять отец, и за каждой из них стояла целая сфера крестьянской тогдашней жизни. Ну, «тише едешь — дальше будешь» это уже даже и не хрестоматия, это, можно сказать, — общее место. А вот любил он говорить к месту и к делу: «Хомутами загремели — лошадкам не сон». Это же надо представить себе самые сладкие предутренние часы, когда неотвратимость раннего вставанья доходит до полусонного еще сознания, потому что началось уже движение в доме, и хотя тебя пока еще не будят, не тревожат, но ты уже знаешь, что это произойдет через несколько минут, все предопределено еще с вечера: раннее вставанье, дорога (или работа в поле), одним словом: «Хомутами загремели — лошадкам не сон».

Любил он повторять так же, когда сделает что-нибудь по-крестьянски прочно (хотя бы доску приколотит гвоздем к доске, починяя хлев): «Ну, кто ломать будет, ругаться будет».

Не берем опять же таких часто употребляемых отцов, но совершенно расхожих пословиц, как то: «Хлеб за брюхом не ходит» или «Семеро одного не ждут», но вот я больше ни от кого не слышал — «Живот хуже соседа, старого добра не помнит». То есть как ты его сегодня ни ублажи, ни покорми, а он вскоре опять есть запросит. А когда лично у меня начался подростковый возраст, ну, там 13—14 лет, и когда мы с мальчишками-сверстниками (и чуть постарше нас, заводилами) действительно в праздник какой-нибудь уже «соображали» хотя бы однажды бутылку на всех (нажарить в лесу яичницы на костре и распить эту бутылку), вот тогда, почувствовав этот возраст, отец вдруг при гостях, за общим столом наливал лафитник и мне. В этом случае он неизменно приговаривал: «Пей за столом, а не за углом».

Сам он выпить любил, держал настойки на лимонной корочке, на вишне (чаще всего), на рябине. Тут я могу ошибиться. Должна бы быть настойка и на рябине, потому что невежинской рябины — полон сад, но в глазах у меня рябиновая настойка не стоит, тогда как вишни в освободившемся графинчике хорошо помню, хотя бы потому, что украдкой эти пьяные вишни доставали и ели. В праздники, в особенности в гостях, Алексей Алексеевич мог напиться и допьяна: Вероятно, это происходило в праздники и дома, но не запомнилось, потому что не так заметно. Что ж дома? Напился допьяна, лег и уснул. Из гостей же нужно ехать на Голубчике домой, и тут, как бы мал я ни был, становилось как-то очень уж неуютно: доедем ли, не опрокинемся ли, найдет ли Голубчик дорогу сам. Ну и мать, наверное, ругала отца в таких случаях, потому-то пьяные праздники в гостях и запомнились мне больше, чем праздники дома. Когда же на

другой день мать все еще продолжала «пилить» Алексея Алексеевича (Леню) за вчерашнее, он, дабы свести все теперь уж на шутку, неизменно произносил:

— Без чудес не прославишься.

Частые поездки на Голубчике (а чаще всего это были поездки не обороткой, но с ночевками, двух- и трехдневные) привели к тому, что на всех, так сказать, радиальных направлениях от Алепина (к Юрьеву-Польскому, ко Владимиру, к Ундолу, к Петушкам, к Пекине, к Караваеву) водились у Алексея Алексеевича приятели. Это были те люди, к которым он заезжал ночевать. Лесная деревня Неражь — приятель, какой-то, между прочим, заядлый охотник, на самой станции Ундол — приятель Крошкин, около колокшанского моста — тоже приятель. По какому-то неписаному праву приятельства Алексей Алексеевич заезжал к ним ночевать в любой час дня и ночи, как к себе домой. Бывал и я с ним у этих приятелей, потому что тоже немало дневных иочных часов прошпоротал с отцом в санях или на телеге и по зимним, и по летним дорогам.

С образованием колхоза (об этом подробнее где-нибудь на других страницах) Голубчика отобрали (как и всех крестьянских лошадей) и свели на один общий двор, то есть в большой сарай. Привыкли не думать об этой чудовищной акции, но приходится повторить где-то уж мной говоренное. Сказали бы сейчас городским жителям, москвичам, что завтра они всех своих собак и собачек должны сдать в общий собачатник. Ого, сколько бы началось возмущения, протестов, негодования, жалоб, слез. А тут не собачки, не кошки — лошадь, кормилица, да и лучший друг...

По первым дням мужики ходили на общий двор проводывать своих лошадей, приносили с собой кормецу в дополнение к колхозным «харчам». Так-то вот однажды и отец стал поправлять корм в кормушке у Голубчика, а Голубчик сгреб его за руку и с осторженением содрал всю кожу с тыльной стороны ладони. Оставалось загадкой, с чего это он так. Но недавно разговорились об этом с одним хорошим русским писателем, и он сразу решил:

— Так это же Голубчик отца твоего за предательство. Откуда ему было знать, что тут — насилиственная акция, большевики и так далее. Он решил, что твой отец его предал и отдал на общий двор...

Что ж, возможно, и прав хороший русский писатель.

После коллективизации отец прожил еще более тридцати пяти лет. Пока были силы, он все это время работал в колхозе, как и все алепинские мужики, но это была уже — инерция жизни, а не сама жизнь. И дома — тоже. Сначала держали и корову, овчишек, потом перешли на козу. Постепенно все запускалось, рушилось, истончалось, никакого интереса в жизни уже не было. Из всех многочисленных поговорок и фраз, присущих отцу, теперь чаще всего можно было услышать в ответ на докучливые, ежедневные требования Степаниды Ивановны: «Ладно, без дров не будем». Это значит, что действительно повседневно, заботясь хотя бы о ближайшем будущем, о предстоящей зиме, пилила Стеша своего Леню:

-- Леня, ну что ты лежишь! Зима на носу, а дров остается два полена. Чем будем печку топить? Леня, дрова нужны.

— Ладно, без дров не будем.

Ну, и кое-как: там хлеб разобрать, там двор укоротить, там из лесу подвезти дровишек в последний момент — кое-как, в полусонной, безынтересной, безвкусной жизни по инерции доживали российские крестьяне, алепинские старики и старухи, свой век. «Ладно, без дров не будем».

13

Значит, некая вечная субстанция, называемая в земном, человеческом обиходе душой, оказалась вселенной в небольшое ранимо-истязаемо-смертое (но и приспособленное к восприятию всех земных наслаждений и радостей) тельце с соломенными волосенками и голубыми глазами. Этой-то глаза и оказались теми двумя окошками, теми прорезями, теми смотровыми щелями, через которые, оглядывая новое место жительства (Землю), смотрела залетная поселянка на все земные красоты и на все земные ужасы. Сначала она смотрела на все вокруг глазами младенца, потом мальчика, потом подростка. Теперь это подблекшие, подприпухшие вокруг, полуприкрытые усталыми веками глаза шестидесятилетнего мужчины, но все равно в иные моменты, если бы ловить эти моменты и взглянуться, нет-нет и проглянет в глазах опять та чистая голубизна, проглянут наивность и любопытство, восхищение и ужас, недоумение и восторг. Проглянет ребенок.

И вот наряду с золотым одуванчиком, белым окружным облаком, проплывающим в синем небе, ландышем под тенистой елью, лампадой перед иконами, светлой водой, льющейся в речке (и желтой кувшинкой на этой светлой воде и синей стрекозой, сидящей на этой кувшинке), наряду с добрым миром матери и прекрасным лицом сестры, вдруг в мире — чудовищная, безобразная, необъяснимая жестокость других людей. А где же в это время была их душа? Тоже ведь у каждого по два глаза и тоже ведь это прорези, смотровые щели, окна в мир. И зачем я становился вольным или невольным свидетелем множества безобразных жестокостей? Вспомню хотя бы две из них, причем, наверное, самые мелкие, примитивные, пустяковые, особенно на фоне того, чего я тогда не мог ни видеть, ни знать, но что творилось по всей стране. Об этом пока не будем и говорить.

Не отношу к жестокости также действия моего отца, ни того, что он меня, совсем еще мальчика, делал соучастником своих действий. Это были крестьянские будни, и надо же было меня, крестьянского мальчика, приучать ко всему, что касалось этих будней. Куда бы я годился, выросши, если бы потом, оставаясь крестьянином, не мог или не умел зарезать овцу?

Да, отец заставлял меня держать овцу за передние и задние (впрочем, предусмотрительно связанные) ноги, пока он острым ножом, не очень-то умело (ведь он не был профессиональным резаком) перерезает ей, оттянув голову назад, беззащитное горло. И как

дергалась в моих ручонках овца, и как постепенно затухало ее дерганье, и как наконец застыла она в неподвижности. А глаз ее все еще, казалось, косил на меня, именно на меня, а не на главное действующее лицо, и как бы застыпало в этом глазу недоумение: «Ну он-то ладно, он мужик, его воля, а ты-то что? Ты-то зачем? От тебя-то уж никак нельзя было ждать...

А то еще резали поросенка, резали неудачно, отец тыкал, тыкал нож в глубину поросенка под его левую ногу, стараясь попасть там, в глубине, в разные места (видимо, не попав сразу в сердце), а поросенок истощенно верещал, но в конце концов тоже затихал постепенно и то же недоумение застыпало в его маленьком, но выразительном, черт возьми, поросичьем глазу.

Нет, я помню из детства другие мелочи, помнить которые может показаться смешным, ибо не просто помню, но до сих пор все так же больно мне, как и тогда, в пятилетнем, наверное, возрасте.

Был августовский, молотильный день. То, что молотильный — определенно, ибо открыт был просторный, прохладный молотильный сарай с установленной в нем конной (еще все это до колхоза) молотилкой. Или, может быть, просто возили в сарай снопы, но самой молотьбы еще не было. На старой пушистой, вернее сказать, развесистой, с огромной округлой кроной, ветле обнаружили белку. Зачем она забежала в село из близкого елово-соснового леска, я не знаю. Но вот мальчишки, парни, да и не взрослые ли, подняли гвалт: «Белка, белка, белка!» Тотчас полетели в нее палки, камни. Она с одной ветлы перескочила на другую, но дальше ветел уже не было. Правда, были ведь сады и огороды, в которых она легко могла затеряться, тем более по садам и огородам не стали бы бегать ватагой, но перепуганный и, должно быть, неуверенно себя чувствующий в деревне лесной зверек помчался по земле, и в конце концов его загнали в молотильный сарай, там белка забилась под самую крышу, под перевод. Ну и, спрашивается, что за азарт? Добро бы хорь, который таскает цыплят (но который, кстати сказать, в конечном счете тем же крестьянам приносит больше пользы, нежели вреда), ну ладно, если бы мышь или крыса, которых никогда не преминет убить крестьянин, а то и все-гто невинная белочка, с пушистым хвостом, с милой мордочкой, с не менее милыми передними лапками. Зачем она была нужна всем этим парням и мальчишкам, обложившим ее, загнавшим в сарай и там, в сарае, продолжавшим бессмысленную забаву. Кто-то из парней начал граблями тыкать и бить в щель под переводом, куда спряталась белка, и вот на мгновенье мое детское сознание сфотографировало, запечатлев на всю жизнь окровавленную мордочку и красные капли, капающие из-под перевода на земляной припыленный пол сарая.

Я убежал, помнится, в глухое место в нашем саду и, пожалуй, никогда уж не плакал так горько и так долго, как после этой маленькой и бессмысленной трагедии. Я ненавидел тогда всех взрослых (а там было много взрослых, хотя, может быть, они и не принимали участия в травле бедного зверька, но они там присутствовали) и, не имея других способов выразить свой протест (да не четыре ли было мне тогда года?), дал сам себе такое странное обещание, нечто вроде обета:

когда бы ни пришлось мне плакать по какому-нибудь другому случаю, я отплачусь, а потом, после этих слез, после маленького перерыва буду плакать каждый раз, еще, дополнительно за эту замученную, убитую белочку. Тем самым я буду доказывать взрослым, что я не забыл обиды, горя, пусть знают каждый раз, какие они плохие, злые и жестокие люди. Но уж сказано было где-то мной в другом месте, что доверчивость и отходчивость — два моих главных недостатка. Так и получилось, что от той горькой горечи, от той жгущей злости не осталось в душе ни следа, хотя окровавленную мордочку в щели под переводом вижу явственно, как сейчас.

Второй случай, о котором точно так же невозможно забыть, был, пожалуй, ужаснее первого.

Выйдя гулять, я увидел, что группа мальчишек: Шурка Улитин, да Колька Грубов, да Борька Московкин — все старше меня, — о чем-то таинственно совещаются в ограде около церковной наперти. Ну, обычно, что рядом с более старшими мальчишками или даже парнями вертятся и крутятся младшие. Их как бы даже и не замечают и все делают так, как если бы их тут не было. Точно так и на этот раз никто из мальчишек не обратил на меня никакого внимания.

— Ну что, — говорил Шурка Улитин, бывший тут, как видно, за старшего, за вожака или, скажем, за организатора, — в три палки. Я думаю, будет хорошо.

Я увидел, что действительно у каждого из мальчишек в руке по хорошей ореховой палке.

— Неужто... в три палки-то... — поддержал вожака Борька Московкин.

— Может, и этому палку дать? — кивнул на меня Шурка Улитин.

Только мешать будет. Справимся сами.

— Тогда пошли.

И они пошли в угол церковной ограды, заросшей крапивой, пустырником, горькими лопухами. Я, конечно, увязался за ними. Среди высоких разросшихся трав мальчишки деловито вытоптали, пригибая траву подошвами, небольшую площадку. Я все еще мог понять, что они собираются делать. А то было еще время убежать или хотя бы зажмуриться.

— Давай, — скомандовал Шурка.

Тогда Борька Московкин достал из-за пазухи маленького (но не совсем уж маленького, смыщенного уж) беленького, с черным ушком, розовым носиком и светлыми глазками, котеночка. Наверное, были у него и еще черные пятнышки, на спинке или на боках, но мне помнятся теперь только белая шерстка, розовый носик, светлые глазки да еще вот — черное ушко.

А надо сказать, что все детство мое прошло с котятами, я играл с ними бантиком на веревочке, они спали у меня под одеялом, я и сейчас из всех живых существ не назову никого более очаровательным существом, чём котенок.

Борька Московкин достал беленького котеночка из-за пазухи и посадил его на землю. Котеночек испуганно (после темноты) прижался к земле, оглядываясь, и тотчас же, как и уговорились, в три палки — по этому живому, очаровательному, беспомощному существу: бум, бум, бум... Какие-то глухие получались у них удары, и

опять кровца из розового носика, и опять вытянувшееся тельце в затихающих судорогах...

Господи, зачем Ты это мне показал?

## 14

С некоторых пор появилось в нашем селе не слыханное никогда (а село наше упомянуто где-то в документах еще в двенадцатом веке), да никогда не слыханное и на Руси, словечко «уполномоченный». И потому я с самого начала узнал о нем, что уполномоченные эти останавливались и жили в нашем доме. Они, пожалуй, и справедливо — двухэтажный, самый просторный дом в селе. Когда-то (а «когда-то» — это всего лишь несколько лет назад, ну, если не несколько, то не больше десяти лет) существовал в селе староста и существовали десятские, то есть старшие в каждом десятке сельских домов. И вот если — путник, странник, запоздневшийся прохожий, проезжий, застигнутый непогодой, то никак не могло быть, чтобы ему не предоставили ночлега. Староста и десятские знали, чей черед принять ночлежника, и отводили его прямо в этот дом, и никаких возражений быть не могло. Черед так черед. Нынче твой, а завтра — соседа.

Но потом вместо старосты и десятских появилось нечто под названием «селькоко». Никто, конечно, из крестьян не знал, что это такое и как это расшифровать, как даже и я вот сейчас не знаю путем, то ли это сельский комитет коммунистов, то ли это сельский крестьянский комитет. Помню только, что председателем селькоко сделали (не знаю, за что уж, нормальный был мужик, мужик как мужин) Павла Ивановича Улитина, отца того Шурки, кстати сказать, который руководил убиением котеночка.

Наверное, селькоко и распоряжалось: уполномоченных отправлять в наш дом. Впрочем, может быть, был уже в это время и сельсовет, наверное, был уже сельсовет, и, возможно, он уж распоряжался всем и в самом селе Алепине, и в окрестных пятнадцати деревеньках, а селькоко (если это был действительно сельский комитет коммунистов) распоряжался сельсоветом или кто-то свыше распоряжался сельсоветом посредством этой вот так называемой ячейки селькоко. Или кто-то свыше распоряжался крестьянами при помощи и посредством сельсовета и селькоко.

Уполномоченный в нашем доме сменял уполномоченного, я не мог запомнить их всех, а теперь, задним числом, не знаю даже, не могу, как говорится в наши годы, вычислить, зачем они приезжали, пока не было объявлено коллективизации. Но одного из них, тоже еще доколхозного (а может быть, самого предколхозного), я запомнил. Он любил играть со мной вернее сказать, дразнить меня, доводя частенько до слез. Запомнился он мне в первую очередь тем, что однажды, прикинув меня на ладони, на вытянутой руке, удивленно воскликнул:

— Э, брат, да в тебе больше пуда! (Дополнительная возможность подсчитать, сколько же мне тогда было лет.)

Дразнил же он меня тем, что решительно шел ко мне с веревочкой и говорил, что сейчас свяжет меня и куда-то там увезет. Даже фамилию его запомнил — Егоров.

Надо сказать, что интуитивно, что ли, ко всем этим уполномоченным мое детское сердечко не лежало, чувствовал я в них своих врагов, ну и во мне — сверкающим глазенками из угла — они, возможно, тоже видели волчонка. (Кстати сказать, одно из детских прозвищ моих, которыми награждала меня сестра Катюша. То она звала меня «белым кочаном» — по голове, да еще с дополнительной макушкой, с этаким завитком впереди над правой частью лба, — а то вот волчонком. Стихотворение «Волки», замечу мимоходом, было написано мною почти сорок лет спустя.)

И вот уполномоченный Егоров любил дразнить меня.

Может быть, я убегал и прятался при этом, не знаю, не помню. Но однажды, зажатый в углу, вдруг набросился на Егорова и, колотя его своими четырехлетними (или меньше?) кулачонками, вопил и кричал: «Убью, все равно убью!» Потеха для всех, наверное; была великая. А я теперь с грустью думаю, не были ли эти секунды в моей жизни теми секундами, когда я единственный раз был искренен полностью и до конца? А потом потянулись годы и десятилетия соглашательства, лояльности, а более мудрено выражаясь, коллаборационизма и конформизма...

Двоих уполномоченных запомнились мне гораздо ярче. Их пребывание в нашем доме оказалось; как выражаются современные философы и богословы, провиденциальным. Да и я уж к этому времени немного подрос. Об этих двух людях я писал уже в своей повести «Капля росы», но в том описании тоже получилась, естественно, доля лояльности и конформизма. Все там так было обложено ватой, чтобы годилось для публикации в журнале «Знамя», а потом и отдельной книгой.

Сейчас у меня здесь, в Каракарове, где пишутся эти строки, нет под рукой «Капли росы», поэтому я не буду сверять, какими словами уже написан там этот эпизод, может быть, кое в чем повторюсь, но в чем-то уж, точно знаю, — не повторюсь.

Фамилии людей этих были Иринин и Лосев, а приехали они к нам в село с железным заданием организовать колхозы и в нашем селе, и во всех окрестных пятнадцати деревеньках.

Те, кто где-то там, наверху (а планы эти вызрели еще в 1921 году на IX съезде РКП(б), при Троцком и Ленине), хорошо знали, что они собираются и зачем они это собираются делать. Нужно было свободных, инициативных российских крестьян превратить в безликую армию безземельных, послушных, а главное, практически бесплатных рабов. Задача была — вычерпывать из России, из ее земли, ресурсы ради мифической мировой революции (а возможно — проще, — ради того, чтобы самим при помощи государственного и военного могущества держаться у власти).

Совсем недавно сделаем отступление — в Ташкенте в ЦК один крупный руководитель Узбекской ССР удостоил меня чести беседовать с ним. Он сказал, словно бы хвалясь:

— Мы ежегодно отгружаем вам в Москву 7 000 000 каракулевых шкурок.

— Кому нам? — искренне удивился я. — Я лично не видел в своей жизни ни одной каракулевой шкурки. Куда же они идут?

Они идут на мощь государства, — ответил мне человек из ЦК.

Позволительно было бы спросить: а зачем и кому нужна эта мощь государства? Затем, чтобы сохранять эту систему выкачивания ресурсов.

Я думаю, что узбекам, а равно таджикам, киргизам, туркменам, казахам (это сколько же миллионов шкурок получится, вместе взятых?) хоть сколько-нибудь платят за эти шкурки, хоть какие-нибудь символические рубли, так же как и за хлопок (стратегическое сырье), российским же крестьянам в течение десятилетий за их пшеницу, рожь, горох, гречку, картошку, свеклу (украинцам), лен (вологодцам), за молоко и за мясо не платили ничего. Все, что колхозники производили, государство практически бесплатно отбирало у них, а на так называемый трудодень выдавали местами по 3—5 копеек. Больше 400 трудодней в год человек не вырабатывал. 400 умножаем на 5 (на 50 в дореформенных деньгах), получаем двадцать рублей в год. Ну, пусть хоть и двести дореформенных рублей, все равно это лишь месячная зарплата горожанина. (Да надо еще из этих денег уплатить разнообразные налоги.)

Тогда же, где-то в начале двадцатых годов, было определено: чтобы загнать российское крестьянство (включая все народы, населяющие страну) в колхозы, то есть в эти бесплатные трудовые армии, нужно 10 % крестьян уничтожить физически. Тогда остальные 90 % в колхозы пойдут. Не знаю, в чьей преступной голове впервые зародилась и промелькнула эта цифра, но она стала реальностью, и когда в 1929 году механизм коллективизации былпущен в ход, исходили именно из этой цифры. Напомним, что 10 % тогдашнего крестьянства — это 6 000 000 семейств, а сколько уж будет людей при многодетности семейств у крестьян — не знаю. Существует цифра, которую, правда, трудно проверить, — что погибло тогда около 15 000 000 ни в чем не повинных крестьян.

Увозили их в лютые метельные зимние холода в санях до ближайших железнодорожных станций. Там набивали ими холодные товарные вагоны и по многу суток везли на Север либо в Сибирь. Тех, кто выжил во время этих транспортировок, держали до весны в бывших монастырях, где они мерли как муhi. Весной (рассказывали мне про Обь), как только сошел лед, набивали ими холодные баржи и «сбрасывали» вниз по Оби, а потом завозили в тайгу по притокам Оби — Сосьве и Васюгану. Там высаживали на берег в комариной тайге на произвол судьбы. Из пятисот человек выживало двое-трое. Был еще и такой оттенок. Работоспособных мужиков сразу отсеивали и отправляли на Беломорканал, увозили же в Сибирь только женщин, детей и стариков. Один из таких стариков рассказывал моему другу Жене Мальцеву, что, будучи высаженным в тайге с другими людьми и будучи плотником (оставили им два топора и мешок муки), он лично сколотил пятьсот крестов над могилами крестьян, великому-

чеников и великомучениц.

Все собираюсь написать<sup>1</sup>, как известный поэт манси Юван Шесталов (раньше манси назывались vogулами) возил меня к себе на родину в городок Березов и дальше в тайгу, по реке Сосьве, в свое родное село, вернее, в поселок. Много тогда было для меня захватывающе интересного, но один момент необходимо отметить сейчас. Я спросил, давно ли возник поселок. И вот даже деревья перед некоторыми домами, черемухи, а дома какие-то странные, вроде полубараков: один дом на несколько вроде бы семейств.

— А это спецпереселенцы образовали поселок.

— Какие спецпереселенцы?

— Раскулаченные. С Украины. Их привезли сюда и высадили среди дикой тайги. Они приходили на наши стойбища, к нашим юртам, погибая с голоду. Ну, иногда наши давали им поесть. Те, что уцелели, построили тут дома...

— А потом?

— Потом, когда у нас начался голод, мы ходили уж к ним. Они к тому времени, уцелевшие-то, стали сажать картошку, даже выращивали рожь. Тогда уж они нам давали поесть.

Идиллия, да и только!

Итак, фамилии уполномоченных в нашем селе были Иринин и Лосев. Иринин был без одной руки (гражданская война?), высокий, худощавый, с каким-то бугристым, очень суровым лицом, красноту которого подчеркивал седой ежик на голове. Лосев, напротив, был низкоросл, круглоголиц и темный шатен.

Иринин был весь в идее, в партийном задании, готовый в любую минуту разорить так разорить, убить так убить, а Лосев был общителен, весел, любил играть на скрипке, ходил вечерами к нашему пономарю и дьячу (страшно подумать про уполномоченного тех времен) Николаю Алексеевичу Надеждину, и они там вечерами играли дуэтом. У пономаря и дьячка тоже, значит, имелась скрипка. Впрочем, свободных вечеров не много выпадало на долю уполномоченных. Именно вечерами, до полуночи, они в школе проводили собрания, стараясь то уговорами и обманными посланием райской жизни, то угрозами загнать всех крестьян в колхоз. Я помню все это только по обрывкам разговоров. Нынче половина села в колхоз запишется, завтра записавшиеся несут заявления о выходе из колхоза (передумали за ночь). Никто из них не знал, что все они уже обречены на колхозную жизнь, а идет лишь игра в кошки-мышки.

Что касается раскулачивания и увоза в дальнние края, то есть классовой борьбы в деревне, то в наших местах все это прошло как-то незаметно. Во-первых, сама коллективизация в местах, прилегающих к Москве, проводилась почему-то на целый год позже, нежели в других, отдаленных от центра областях, когда главная волна насилия, разорения и великого перелома (хребта крестьянству) уже склынула. Возможно, уже и статья «Головокружение от успехов» появилась в печати

(излюбленный прием: сделать, а потом все свалить на других).

Так или иначе, жребий раскулачивания упал только на два хозяйства: на Грубовых в деревеньке Останихе да, увы, на нас в нашем селе.

Алексей Павлович Грубов был резаком. То есть специалистом резать скотину: корову, если нужно, быка, овцу, поросенка. Специальность почти столь же необходимая, как пекник, щорник, плотник, кожемяка и прочее. Ну, кое-какая мэда полагалась резаку за труды, вероятно, натурой, поэтому жили Грубовы, ну, получше, позажиточнее других: Вот и решили их раскулачить. Но применили к ним уже полумеру: имущество описать и пустить с торгов, а семью не высыпать. Из всей этой истории я запомнил полутрагический, полукомический эпизод. Тетя Нюша Грубова, красивая и тогда еще молодая мать троих мальчишек, вцепилась в перину и не хотела ее отдать. Мотив же был на потеху всем ротозеям:

Я на ней девственность потеряла, не отдан!

Но, конечно, перину в конце концов отняли, и кто-то из соседей же (и в этом можно разглядеть момент всепронизывающего предательства друга другом) перину эту за бесценок купил. А если бы отказались все покупать? Что бы стали делать уполномоченные с этой периной? В область бы повезли? А с остальным описанным скарбом? Нет; все разобрали, разнесли по своим домам те же останкинские мужички, соседи, а то и дальние родственники. (Сами Грубовы после этой акции уехали из Останихи и обосновались в нашем селе. Все трое мальчишек — Колька, Валька и Борька — были моими сверстниками, мы вместе гуляли и играли в детстве, а потом и в юности учились в школе. Все они потом не вернулись с войны. Подробнее о них можно прочитать в той же «Капле росы».)

С нами было решено поступить более жестоко: имущество описать и распродать, а самих выслать, увезти на мученья и погибель. Но тут, как я понял, вернее сказать, как понимаю теперь, разгорелся из-за нас горячий спор между Ирининым и Лосевым. Иринин был за выселение нашей семьи, а Лосев за то, чтобы оставить нас на месте в нашем доме.

Спорить (и решать нашу судьбу) они ушли куда-то из села, в зимнюю метельную дымку, в лес, и не было их около двух часов. Я в это время сидел одетый в три — одно на другое — пальтишка. Кто-то сказал матери, что взять с собой из одежды ничего не позволяют, но того, что на самих надето, того уж не снимут. (Кто-нибудь хочет, чтобы я это забыл и простил?) Возвратились они (а квартировали-то ведь в нашем доме): Лосев — оживленный, веселый, а Иринин — непроницаемо-суровый. Так что нельзя было сразу сказать, как решилась наша судьба. Я не помню, но мать утверждала впоследствии, что Иринин вдруг протянул мне мятный пряник, и тогда ясно стало, что мы спасены. Мать мне несколько раз на протяжении жизни внушала: «Помни, что спас нас Лосев. Я за него все времена Бога молю, а ты, хоть и не молишься, но помни, что спас нас Лосев».

Впоследствии, когда в «Капле росы» все обложив ватой, в ласково-розоватых тонах я написал этот эпизод, оба они, и Иринин и Лосев, вдруг откликнулись пись-

<sup>1</sup> Теперь уже написано. См.: Сосьвинские мотивы.— Наш современник, 1988, № 6.

мами. Иринин просил, чтобы я похлопотал об увеличении ему пенсии, а Лосев усердно приглашал рыбачить: он где-то под Астраханью работал зоотехником в каком-то совхозе. Несколько лет подряд я все собираясь к нему съездить, имея, как говорится, самые серьезные намерения. У нас шла переписка. Тем временем он ушел на пенсию и переехал из совхоза в Астрахань, я и туда собирался, и у нас опять шла переписка. Но вот пока что я так и не съездил. (Обыкновенное наше русское свинство.)

Итак, вынесли из дома и продали с торгов кое-какую мебель, нам оставили только «низ», то есть нижний этаж дома. Вверху, в комнате, где я когда-то родился, в так называемой «середней», разместилась контора вновь образовавшегося совхоза. Большую переднюю комнату пустили под клуб. От пребывания конторы в нашем доме у меня в памяти остались только густые клубы табачного дыма, в котором нельзя было, кажется, не только дышать, но и смотреть — драло глаза. Но все же дом не очень был приспособлен под контору, и вскоре они перебрались в другое помещение, в дом, перевезенный из другой деревни. Но клуб долго еще оставался в нашем доме, а так как все развлечение молодежи состояло исключительно в танцах, то так мы и жили внизу под чудовищное сотрясение всего дома далеко за полночь. Позже, когда подрос, я и сам принимал участие в этих вечерних гуляньях. Помню также, как среди ночи поднимался «на верх» заспанный, взлохмаченный отец (постаревший и одряхлевший уже), с каким недоумением он смотрел, как стадо молодежи кружится, орет частушки и топает в его доме. Они так расшатали весь дом, что пришлось им поневоле искать другое помещение. Перебрался клуб в бывший пожарный сарай. Так что последние годы мои старики жили в тишине и спокойствии, хотя и в расшатанном доме. Я, приезжая на каникулы, занимал весь верх, где читал или писал, тогда еще при керосиновой лампе. К шестидесятому году (отец уже умер в это время) жить в доме стало практически невозможно, и я затеял капитальный ремонт. Конечно, внутри дома все пришлось изменить, но наружный его вид остался (и остается) точно таким, каким был изначально.

Степанида Ивановна все ездила куда-то в район, в область и, кажется, даже к Михаилу Ивановичу Калинину. Это называлось «хлопотать». Хлопотала она, хлопотала и добилась полной официальной реабилитации нашей семьи. Вышло решение, что мы имеем право возвратить все, что было вынесено из дома (равно как и сам дом, верхний его этаж) и продано. Это было возможно сделать: ведь знали, кто что купил с торгов, где стоит наш буфет, где кровать, где гардероб (плательной шкаф) и т. д. Но мы возвращать ничего уж не стали (в решении было — возвратить безвозмездно, не выкупая), за исключением коровы.

Тот тихий, теплый, ласковый, хотя и осенний (не октябрьский ли) денек, когда мы с матерью ходили в деревню Волково (6—7 километров от нашего села) за коровой, я не забуду никогда...

Мне было, должно быть, не больше шести лет, и я, наверное, впервые совершил такое далекое пешее путешествие. Все же 12—14 километров в оба конца. Ти-

хонько, не торопясь, мы шли вдоль вьющейся речки (но не по самому берегу, а чуть-чуть поодаль) от луговины до луговины, от косогора до косогора, от лесочка до лесочка по едва заметным тропинкам. Мало ведь кому нужно было пройти пешком от нашего села до Волкова. Помню, что было тепло, но уже сорили березки золотистыми листочками на зеленую травку, помню, что отдыхали под елью, стоящей одиноко на косогоре, помню умиротворенность в мире и на душе. Ведь шли не отдавать, не продавать свою корову, а возвращать.

Домой вели корову на веревке и шли еще тише. Когда отдыхали, пускали корову пасться, и она щипала травку, не уходя далеко, и на путешествие это ушел у нас целый день. Тихий, теплый, умиротворенный осенний денек еще и тем драгоценен, что, вероятно, ни до этого дня, ни после ни разу уж в жизни не выпадало больше такого случая, чтобы целый день — с матерью наедине. Все больше общаться приходилось урывками: там даст поесть, там уложит спать, там заставит помолиться, там покричит домой, если забегаешься на улице, там посидит около заболевшего. Все это между домашних хлопот, забот. А тут — целый день вдвоем. Неторопливое путешествие. Тихий теплый денек, свою корову ведем обратно к себе домой. Может быть, счастливее дня уж и не было в моей жизни.

## 15

Эта главка, строго говоря, должна бы принадлежать второй части книги, потому что оба события произошли уже в школьные годы, а моя мысль была закончить первую часть приходом в школу. Но все же и это — самое раннее детство. И неизвестно еще, успею ли я (по многим причинам) написать вторую часть, а воспоминания свежи и ярки, кроме того, они обрисовывают по-своему обстановку и атмосферу, что ли, того времени, они, пожалуй даже, по-своему социальны, хотя речь идет о двух выволочках за все мое детство, на которые я вынудил своих сдержаных и добрых родителей.

Вдруг, как перед гибелью или во время чумы, охватила наше село эпидемия азартных игр. Старые да малые долгими зимними вечерами играли в лото. Собирались в нескольких избах, за стол на саживалось столько народа, что подчас тесно уж было сидеть, Старушки, не умея играть «в передвижку», горстями держали пуговицы, медные денежки, нарезанные картонные квадратики — «заставлять» выкрикнутые и совпавшие цифры и числа. Кто помоложе, тот быстро усвоил прогрессивную систему «в передвижку» и тому требовалось лишь три пуговицы или денежки на каждую карту, по количеству цифровых строк на ней. Совпадет число, пуговка передвигается на одну клетку (пустую), вот она уже на краю карты. «По одной!» — кричит этот игрок. Значит, чтобы выиграть, осталось одно число, и фишк из мешка теперь нужно таскать уж не горстью, а обязательно по одной. И в этом есть смысл. Ведь выкрикивающий может скосить глаза и увидеть, какое число требуется для выигрыша, а фишк — полная горсть. В таком случае можно промедлить и не выкрикнуть нужного числа. Можно даже словить и незаметно руку с

нужной игроку, ожидающей фишкой опять опустить в мешок. Нет, если уж крикнут «по одной», то начинают вынимать из мешка по одной. На каждую фишку появились прозвища. 90 (самая старшая фишка) — девушка, 80 — бабушка, 77 — топорики (или Семен Семенович), 22 — уточки, 11 — барабанные палки... Остальных не помню, но находились ловкачи-кричальщики, которые едва ли не все цифры выкрикивали по прозвищам.

Ну... в лото много не проиграешь. Ставили на кон, помнится, по 2 копейки с карты. Взрослым парням как-то не пристало бы корпеть над картами лото вместе со старыми да малыми, и парни, собираясь отдельно, резались в очко, в двадцать одно, там уж и деньги ходили другие, и азарт был другой. Однако и мы, мальчишки-лотошники, очень скоро нашли более быстрый и, можно сказать, радикальный способ игры. Ставили на кон, скажем, по пятаку. Затем каждый по очереди лез в мешок с лотошными фишками и вытаскивал одну фишку. У кого фишка оказывалась «старше», тот и брал кон. Вся процедура занимала считанные секунды. Ну, а на кон можно уговориться ставить по пятаку, а можно и по гривеннику, а можно и больше. Однажды во время такой игры я проиграл все свои денежки.

Азарт уже жил в нас во всех, не играть на другой день я уж не мог, как же быть? И вот я залез в отцовский кошелек (черный такой, кожаный кошелек с двумя слегка перекошенными металлическими шариками вместо запорчика, классический русский кошелек) и взял оттуда несколько монеток: два двугривенных, два пятиалтынных, несколько гривенников.

\* Вероятно, я и еще несколько раз ходил по протертой дорожке, и это очень скоро было замечено. Не так уж много денежек обреталось в отцовском кошельке, чтобы он сразу же не заметил, как они убывают. Наверное, даже заметив это сразу, отец подождал, поглядел, что будет дальше, а когда убедился, что все точно, все так и есть, что его сынок — воришко, мелкий воришко, поговорил со Степанидой Ивановой. На семейном совете они, видимо, решили, что наказывать меня будет мать.

Тут надо сказать, что в нашей семье никогда детей не били. Дело ограничивалось подзатыльниками и подплесниками. За какую-нибудь провинность отец жесткой своей, заскорузлой, тяжелой ладонью пахаря и косца смажет несильно по затылку — вот и все наказание. Мать, если понадобится сделать то же самое, хлопала ладонью по мягкому месту. Это уж был не подзатыльник, а подплесник. И был однажды курьез. Моя сестра (и крестная) Валентина прикрикнула на меня за что-то: «Сейчас получишь белый подплесник». Белый, наверное, означало — по голому мягкому месту. Слова «подплесник» я тогда, значит, не понимал. Мне вообразилось нечто белое, творожное, вкусное, либо белое, печеное вроде блиниш, лепешки. Я полдня, к потехе всех домашних, приставал к Валентине и выпрашивал: «Дай белый подплесник, ну, дай белый подплесник!»

И вот решили меня по-настоящему выпороть. И поручено это было матери, и было это для нее большим наказанием, нежели для меня. Она незадолго до смерти, то есть лет тридцать пять спустя, все еще пыталась

просить у меня прощения за что-то, а я никак не мог понять, за что, и только потом, когда её уже не стало, вдруг однажды озарило меня, как обожгло: да это она за ту порку, за ту экзекцию просила прощения.

Мать предупредила меня, что сейчас начнет бить, сказала, за что, и была скрученным полотенцем. Била и сама рыдала, плакала больше, чем я. Помню, что это было совсем не больно (подумаешь, скрученное полотенце, не полено, не плетка, не ремень), но само по себе все это было настолько мучительно для обоих, что я все до сих пор помню в мельчайших ощущениях, а Степанида Ивановна несла, оказывается, тяжесть этого дня до самой смерти.

Второй случай внешне выглядел пустяком рядом с первым (здесь все-таки — воровство из отцовского кошелька, вопрос нравственности и морали, проявившаяся черта с далеко идущими, возможно, последствиями и вообще отвратительный проступок, чтобы не сказать — преступление), а там... там был именно случай, но в обстановке тех лет он мог кончиться огромной трагедией и, должно быть, очень сильно напугал моего отца.

В этих записках я рассказывал, что в юности, которую как сырье для производства воска откуда-то привозил в рогожных кулях и в матерчатых мешках отец, попадалось много разнообразных предметов. Больше всего там было денежной мелочи, монеток, но могло встретиться и другое: медный оконный шпингалет, гвоздь, шуруп, дверная медная ручка, навески для двери или оконной рамы, перочинный ножичек... А однажды, как уже говорилось, попался настоящий заряженный револьвер. Это был очень старый револьвер, допотопной системы (если бы полистать теперь альбом с видами оружия, я, конечно, его узнал бы), но помню, что был у него барабан, и торчали из барабана против каждого гнезда медные шпеньки, по которым должна была ударять собачка, и в гнездах барабана видны были пули, и можно только дивиться, почему при нашем мальчишеском обращении с этим предметом, при нашем бесконечном щелканье им не произошло ни одного выстрела. Да, отец, видимо, забыл про эту давнюю находку либо считал ее потерянной, на самом же деле револьвер находился у меня. Он был надежно спрятан на чердаке, но время от времени я извлекал его из тайника, и мы с мальчишками убегали на «кручу» (лесистый песчаный откос над нашей речкой), чтобы играть там в Чапаева или уж не помню в кого и во что.

Не помню также, зачем и при каких обстоятельствах он нам с мальчишками понадобился в тот роковой день. Вернее сказать, должен был понадобиться, ибо я его взял из тайника, но до школы не донес, а перепрятал в церковной ограде около старой липы в сухих прошлогодних листьях. Когда после уроков мы пришли к этому месту, револьвера на месте не оказалось.

Впоследствии выяснилось, что один парень, а именно Витяка Московкин, из окна увидел, как я что-то прячу в ограде около липы, решил поинтересоваться, когда я ушел, что же именно я прячу, остальное понятно...

По селу сам собой распространился слух, что в нашем доме хранится, по крайней мере хранился до этого дня, револьвер. А ведь это было самое начало

тридцатых годов. И не за такие провинности (без всяких провинностей) людей брали, увозили, уничтожали. Можно понять, как испугался отец. Тут уж он не стал передоверять наказание Степаниде Ивановне. Но она была рядом, плакала, рыдала, подставляла свои руки под ремень отца (чтобы меньше досталось мне), под его ладони, когда он хлестал меня ладонью по щекам, по вискам, а потом снова переходил на ремень. Это было вчера, но только пятьдесят лет назад.

16

В селе не было никакой геометрической отметки выше «крестика». Так и говорили, если нужно было сказать о чем-нибудь, что высоко,— выше крестика. Имелся в виду при этом крестик не церкви, а колокольни. Колокольни всегда на Руси, по крайней мере в сельской местности (в городах, кажется, бывало и наоборот), поднимали свой крестик выше церкви.

Не было также в селе (и во всех окрестностях села) точки выше, с которой можно было бы взглянуть окрест, нежели колокольня. И тут уж — не крестик, который вообще недосягаем, а та площадка колокольни, где висят колокола и где широкие проемы на четыре стороны, чтобы свободно улетал в даль, над полями, лесами, лугами, достигая других таких же колоколен, вечерний, утренний колокольный звон. Пасхальный, трезвонный благовест, редкие удары (словно поступь судьбы) большого колокола при похоронах — все беспрепятственно улетало с колокольни на все четыре стороны, плыло над землей, замирая в летней зеленой либо в заснеженной морозной дали.

От нашего села (даже если и с колокольни) не много было видно других колоколен: колокольня в Черкутине, в четырех километрах, колокольня в Спасском (выглядывали из-за темноты хвойного леса), в пяти-шести километрах, да еще колокольня в Ельтесунове, тоже за лесом, и до нее километров семь. Не помню теперь, виднелась ли в далекой дали колокольня села Рождествена? Она была очень высока и должна бы виднеться, но, с другой стороны, до нее не меньше девяти километров. Вот и все колокольни, которые можно было тогда увидеть с нашей алепинской высоты. Но в деревне Василёве (в трех километрах от нас) за огородами была, как теперь сказали бы, точка обзора, с которой насчитывали в зеленых, синеватых от расстояния далях колокшеннской долины и заколокшеннских холмов двадцать одну белосахарную колоколенку.. Да и в блоковских, шахматовских местах, на холмах над рекой Лутосней, тоже была точка, от которой насчитывали более десяти колоколен. Теперь представьте себе, что все они начинали звонить...

Как известно, недавно правительство отдало патриархии в полное распоряжение бывший Данилов монастырь. Руины, обломки бывшего Данилова монастыря. На его территорию в тридцатые годы валили землю из метрополитена, потом там была колония (тюрьма) для несовершеннолетних преступников. Остались от монастыря только одни руины. И вот эти руины отдали патриархии с разрешением монастырь восстановить,

а вернее сказать, построить заново. Я побывал на этой стройке, где все кипит, бурлит, вот именно строится, и строится так, что за год они успели столько, сколько, если бы строило государство, не успеть бы и за пятнадцать лет. Где-то в глухом Ярославской области, в каком-то лесном селе они нашли (и это чудо из чудес), вероятно, единственные на всей территории СССР, если не брать Ростова Великого да Кремля, не сброшенные колокола. Убежден, что это единственное село на всей территории СССР. Колокола эти (а они в скором времени рухнули бы, обрушив и саму колокольню) привезли в Данилов монастырь и подняли на вновь построенную колокольню. Но я их видел, когда они стояли еще на земле. На самом большом я прочитал, что весит он двести десять пудов. Это-то и удивило меня, поэтому я и вспомнил сейчас о нем. Огромнейший колокол — и всего двести десять пудов! Ведь я же хорошо помню надпись на нашем алепинском колоколе, она гласила, что весит он двести семьдесят пудов четырнадцать фунтов. А еще было написано на нем славянской вязью, что это дар крестьянина Михаила Дмитриевича Солоухина, то есть брата моего дедушки. Я думаю, теперь не то что у целого района, у области не хватило бы духу отливать колокол, который оказался под силу крестьянину. Двести семьдесят пудов! Да еще там было указано, на колоколе, сколько в нем серебра, но этой цифры я не запомнил.

Правда, черкутинские мужики перещеголяли наших алепинских (тогда в ходу было это — перещеглять в высоте ли колокольни, в размерах ли колокола) и отлили громадину в 500 пудов. Но колокол их при отливке дал трещину, переливать его не стали, поэтому звук он издавал неполноценный, с дребезжанием, и не мог соперничать с нашим полновесным, наполненным серебристо-медным, красивейшим звуком.

Колокола подразделялись: большой так и назывался — «Большой». В него звонили во время церковных служб, свадеб и похорон. В обычное же время никто не осмелился бы раскачать тяжеленный кованый, железный язык (утолщение на конце величиной с лошадиную голову) и произвести сотрясающий звук. Только если уж какое-нибудь страшное бедствие. Да, кажется, еще разрешалось ударить в большой колокол, если пожар в своем же селе. Для всех остальных случаев был — набат, колокол, весящий 29 пудов.

В набат звонили (называлось «ударить в набат», «бить набат») частыми ударами, и, право, я потом, наслышавшись разных сирен, звонков наземной, боевой тревоги, не слышал уж никогда более тревожного и, я бы сказал, зловещего сигнала, нежели когда звонил наш набат.

Ну, и был еще набор трезвонных колоколов один другого поменьше, наверное, от пяти пудов и до пуда. Их было восемь. Они висели все на одной перекладине в северном проеме колокольни. От каждого из них шли веревочки, которые трезвонщик надевал себе петельками на пальцы обеих рук и, держа за веревочки, трезвонил. Набат тоже участвовал в трезвоне. Веревка от него опускалась почти до полу, в петлю на конце веревки была продета доска. Трезвонщик, наступая, когда нужно, ногой на эту доску, извлекал звук из набата.

В Большой колокол при этом бухал отдельный звонарь.

Все это вместе взятое было замечательным музыкальным инструментом, вернее сказать, оркестром. Но музыка эта была рассчитана на то, чтобы слушать ее на некотором отдалении. Ведь даже пастуший владимирский рожок вблизи кажется слишком уж громким, пронзительно-верещащим, в то время как издали, через поле, через овраг, через речку, через луг, через перелесок, да еще на утренней притуманенной зорьке может ли быть что-нибудь прекраснее, чище, слаще? Однажды в пасхальное утро (было мне, наверное, года четыре или пять) отец взял меня с собой на колокольню, чтобы показать, как звонят в колокола. При мне два парня (не помню теперь, кто) начали раскачивать язык Большого колокола, и, когда он впервые ударился о колокольный край, я был оглушен, ошеломлен, напуган, расплакался, так что пришлось поскорее меня с колокольни увести. И правда, удары Большого колокола вблизи можно было бы сравнить, наверное, с тем, как если бы над самым ухом стреляли из пушки.

...Беззастенчиво обманывали народ, словно маленьких детишек, будто стране нужен цветной металл на пушки. Легко было сослаться на исторический пример, когда Петр во время войны со шведами тоже переливал колокола на пушки. Но, во-первых, не все же, не со всей же России колокола, во-вторых, их после войны опять отлили и повесили, в-третьих, современные пушки делаются не из меди, а из стали, в-четвертых, Россия всегда поддерживала свое оружие на уровне века и не было нужды сбрасывать колокола, в-пятых, я сам потом видел на железнодорожной станции Ундол (лед десять спустя) целый холм из колокольных обломков (их ведь сразу тут же в селах и разбивали на куски и увозили уже кусками). Значит, не такая уж нужда была на цветной металл, если за десять лет не удосужились увезти на переплавку, а оставили валяться на станции. Важно было сбросить и разбить на куски. Важно было унизить народ, важно было сломать его еще раз, еще и на этом, на колоколах. Первый раз сломали на коллективизации, на колхозах, на отнятии земли и лошадей, на отнятии инициативы и ощущения хозяина на земле. «Год великого перелома». Перелома хребта российского крестьянства, народа. Как и человека, который мужественно сопротивляется чему-либо, упирается, стоит на своем, достаточно сломать один раз (у следователей это называется «расколоть»), так и с целым народом. Сломать один раз, а потом делай с ним все что хочешь. Для того, чтобы закрепить первый слом (с коллективизацией), и решено было еще раз унизить народ и сломать его еще раз — по всей России сбросить колокола. Обеззвучить страну и народ, обезъязычить их, ввергнуть в глухую немоту. Если он, народ, и на это никак не ответит, ну тогда, действительно, делай потом с ним что хочешь, вей из него любые веревки.

Я в это время уже ходил в школу, в первый или второй класс. Вероятнее — в первый. Значит, мне — семь лет, и, значит, происходило это в 1931 году. Но возможно, что годом позже. Большой колокол бухнулся на землю, когда мы все, сельские дети, были на уроке, это произошло без нас. Вообще же от всей этой операции

по сбрасыванию колоколов в моей памяти осталось несколько коротких моментов. Первый из них — толпа баб перед входом на колокольню и несколько чужих мужчин с веревками перед этой толпой. Бабы загородили вход, непускают чужих людей, галдят, а чужие люди, сбрасыватели, колокольные палачи, пытаются сквозь толпу пробиться и на колокольню попасть.

Этого им так и не удалось сделать. Целый день продолжалась своеобразная баталия, потом, поняв ли, что с толпой баб им не совладать, поняв ли, что время в этот день уже упущено, сбрасыватели колоколов отступили. Из всех кричащих и заступивших путь на колокольню баб мне запомнилась больше всех Шурка Бакланихина. Она была тут, видно, застрельщицей, организатором, вдохновительницей, вождем. Между прочим, до сих пор (она теперь, естественно, очень пожилая женщина) я, когда здороваюсь с ней при встрече, невольно вкладываю в свое приветствие долю дополнительного уважения и почтения за тот «колокольный» день.

Второй момент, который я помню, это толпа всех алепинских жителей (на этот раз и всех мужиков и даже вот, как видим, детей). Все мы стоим в ограде перед церковью, а председатель сельсовета Александр Николаевич Николайпетров, а в общем-то Солоухин (как, впрочем, и Шурка Бакланихина, тоже по документам Солоухина, у нас в селе почти все Солоухины, для того и носят еще вторые фамилии и значатся «по деревне» Бакланихины, Симоновыми, Московкиными и вот даже Николайпетровыми), произносит речь. Он что-то напряженно, митингово кричит алепинским жителям, а они молча слушают. Значит, он их уговаривает, агитирует за сбрасывание колоколов, из всей его трескотни я помню до сих пор одну только фразу: «И вот начнется война. У противника три пушки, а у нас только две. Противник нас победит. Надо, чтобы и у нас было три, а то и четыре пушки». Вот какова была аргументация власти в то время при разговоре с народом.

Этой речи оказалось мало. Баб, участвовавших накануне в баталии, по одной вызывали в сельсовет и о чем-то там с каждой из них наедине говорили. На третий день, когда колокольные палачи подошли ко входу на колокольню, никто им дороги уже не загородил.

Было раннее утро. Я еще не ушел в школу. Помню мать, смотрящую в окно на колокольню. Один из «мастеров» рукавицей смахнул пыль с какой-то там перекладины, и в это время мать заплакала, запричитала: «Пыль смахивают... пыль смахивают...» Больше не помню ничего, да, наверное, и не видел. Когда сбрасывали сами колокола, мы, дети, сидели в школе, на уроке и, возможно, учительница нам читала стихи Жарова либо Безыменского.

бесплатный труд, по сигналу, по звонку (ради этого оставили один маленький колокол из трезвонных, пуда на полтора, и повесили его на столбе). 1931 год. С колоколен повсеместно по всей стране сброшены все колокола. У нас вместо исконных названий деревень: Прокошиха, Брод, Останиха, Курьяниха, Венки, Пуговицино, Вишненики, Лутино, Кривец, Зельники, Рождество, Ратмирово, Спасское, Снегирево, Ратислово, — вместе всех этих исконных, многовековых, русских, исторически сложившихся названий в документах, в речах, в областной газете, в районной газеточке, в стенных газетах, на унылых диаграммах и графиках, всюду пошли другие названия: «Красный комавангард», «Путь к социализму», «Показатель», «Вперед», «Красный профинтерн», «Борец», «Роза Люксембург», «Красное знамя», «Ленинский», «Первомайский»...

Нашему селу сначала вроде бы повезло, назвали в нашем селе колхоз — «Культурник», тоже не бог весть что, но все же не «Красный профинтерн». Но название это оказалось не навек. Когда начали колхозы укрупнять, то одно время значились мы «40 лет Октября», потом некоторое время побыли колхозом имени Хрущева, а сейчас приписаны к колхозу имени Ленина. Деревеньки распадаются, а то и вовсе исчезают с лица земли, и их по двадцать, по тридцать штук собирают в один колхоз. Мне уж приходилось писать в одном месте (рассказ «Бедствие с голубями»), что школа в нашем селе давно закрыта — некого стало учить. Три ученика набралось во всех окрестностях, нас же в 1931 году в четырех-то классах алепинской начальной школы было, как мне позже сказала наша бывшая учительница, сто четырнадцать человек.

Сто четырнадцать мальчишек и девчонок каждое утро по тропинкам из приречной низины на наш алепинский холм вереницами тянулись из упомянутых деревенек — в школу.

Эта наша алепинская начальная (4 класса) школа была построена и открыта в 1880 году. Было в ней всего два классных помещения да еще одна небольшая комната для учителей — всегда не более двух. В одном классном помещении располагались, совмещаясь, первый и третий классы (и вел их один учитель), во втором классном помещении сидели на уроках второй и четвертый, и учитель там был другой. Впрочем, когда я учился, меня учили только учительницы.

Снаружи школа представляла собой небольшое одноэтажное здание, обшитое тесом, окрашенным суринком. Это здание осеняли две сосны, посаженные, видимо, тогда же, когда построили школу, да еще одна могучая, плакучая, наподобие плакучей ивы свешивающая свои ветви, береза. Можно сказать, что осеняли школу и липы, ибо она построена была около самой церковной ограды, около прицерковных лип, только узкий проезд (проехать на лошади, на телеге) отделял школу от церковной ограды, ну, а вокруг школы на все село — зеленая ровная лужайка, куда во время перемены высыпали все сто (114) ребятишек, бегать, играть, бороться, кувыркаться.

Деревенским ребятишкам трудно сразу было привыкнуть к школьной дисциплине (просидеть 45 минут на

одном месте), помнится, как Шурка Московкина встала среди урока из-за парты и пошла к выходу.

— Московкина! Ты куда? Сядь сейчас же на место, — строго прикрикнула учительница.

— Пирожка хотца, — чистосердечно призналась Шурка.

Учили нас, конечно, читать и писать. Учили арифметическим действиям, географии, географической карте (чукчи, ненцы, лопари, камчадалы) с непропорционально большими и жирными черными квадратами, прямоугольниками и кружками разных полезных ископаемых, но параллельно этому и думаю, что вопреки воле и желанию учителей, шла обработка детских мозгов и детских душ. Заставляли, велели в РОНО — и вот мы уж после уроков, соединившись, все четыре класса вместе, разучиваем песни, поем хором, сидя за партами:

Взгляни на карту пятилетки,  
И что она расскажет нам.  
Заводы раньше были редки,  
Теперь они и тут и там.

А то и еще похлеще:

Победим мы эту свору,  
Победим лишь только мы,  
Только красные герои,  
Только красные орлы.

И на уроках по родной речи, где учить бы нам и читать наизусть «Колокольчики мои, цветики степные», или «Белеет парус одинокий», или что-нибудь хотя бы из «Конька-Горбунка», мы талдычили вслед за учительницами: «А по полю нашему трактора, трактора...» Это, значит, противопоставлялись колхозные поля какому-нибудь единоличному полю, с пахарем на нем, пашущим плугом и лошадью. А то еще помню: «У Никиты шито-крыто, глубоко зарыто жито». Тут понятно. Когда насищенно и бесплатно отбирали хлеб у крестьян (то есть попросту грабили их), злодей Никита спрятал хлеб, чтобы потом семья не умерла с голоду, как умерло с голоду в 1933 году на Украине и в Поволжье более семи миллионов человек.

Бодрым голоском читала какая-нибудь Катя Барсукова:

Слышите, песнь о металле  
Льется по нашей стране:  
Стали, побольше бы стали,  
Меди, железа вдвое!

А ваш покорный слуга, начавший, как может быть, помните, под руководством Катюши с Лермонтова и Пушкина, читал 21 января в известный траурный день на школьном вечере, посвященном этому дню (а читать, то есть декламировать, я уж и тогда, очевидно, умел):

Тираны мира, трепещите,  
Не умер Ленин, Ленин жив.  
Вы нас, вы нас не победите,  
Живет в нас ленинский порыв.

Вообще-то в школе происходило оболванивание, замусоривание мозгов, а что же дома? Что же — религиозная мать, любящая и знающая наизусть Некрасова, Кольцова, Сурикова, что же сестра, привнесшая в меня А. К. Толстого, Пушкина и Лермонтова? Ну, сестра ладно. Она к этому времени жила уже в Москве, училась там на каких-то курсах РКК (Российский Красный Крест), то есть, попросту говоря, на медицинских курсах.

А мать... Родители, отчетливо понимая, что жить мне всю жизнь предстоит при новой власти, руководствуясь, очевидно, инстинктом самосохранения, полностью

самоустранились от моего, так сказать, социального воспитания, передоверив меня советской школе. Больше того, они всячески поощряли и дома школьное воспитание. Во всяком случае, когда, движимый почти религиозным по силе и яркости чувством, я дома начал устраивать «Ленинский уголок», приклеивая на стену множество фотографий Ленина, начиная с кудрявого мальчика, кончая гробом и Мавзолеем, никто из домашних уже не препятствовал мне, а то, что в это время за левым плечом потирали руки и злорадно хихикали, а за правым плечом печалились, если не плакали, то ведь этого не было ни слышно, ни видно...

**Владимир Алексеевич Солоухин**

**СМЕХ ЗА ЛЕВЫМ ПЛЕЧОМ**

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ,  
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

Редактор *С. Гладкова*

© Иллюстрации художника *Б. Косульникова*

---

Художественный редактор *А. Моисеев*  
Корректоры *Л. Волкова, М. Макарова*  
© Фото *Н. Кошнева*

Технический редактор *Н. Кошелева*

---

Сдано в набор 25.01.91. Подписано в печать 18.03.91. Формат 84×108<sup>1</sup>/16. Бумага газетная.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 6,3. Уч.-изд. л. 6,99.  
Тираж 2 886 000 экз. (1-ый завод 1—2 386 000 экз.) Заказ 148. Цена 1 р. 10 к.

---

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманская, 19  
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

---

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат  
Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской обл.

---

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.  
Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсыпать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.



Публикуем письмо читательницы Л. Губачевой из Челябинска:

«Уважаемая редакция! Никогда не писала вам писем, теперь решила написать. Мне 43 года, работаю фельдшером в детском саду двадцать пять лет. И все эти годы являюсь вашим подписчиком. Любовь и уважение к вашему журналу переняла от своей матери, которая его выписывает и по сей день. Я очень боялась новых цен, т. к. зарплата у меня 115 рублей. Пришлось отказаться от «Огонька», «Человека и закона», «Юности», но больше всего я боялась, что поднимутся цены и на «Роман-газету». Вы, наверное, не сможете представить мою радость, когда я узнала, что цена не изменилась. Огромное вам спасибо от всего сердца. С великим удовольствием я читаю «Роман-газету», храню все журналы за прошлые годы и многие перечитываю повторно. Низкий поклон вам от меня, сердечное спасибо за прекрасные, многосторонние и познавательные выпуски «Роман-газеты». Надеюсь, что я останусь вашим подписчиком на всю свою сознательную жизнь. Любовь к литературе я привила и своей дочери, она также не мыслит своей жизни без книг. Книги не всегда есть и не всегда могу купить из-за высоких цен, теперь у нас одно утешение: «Роман-газета». Хочется пожелать всему вашему коллективу творческих успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия и не сдавать своих позиций! Еще раз огромное вам спасибо! С уважением Л. Губачева».

## ОТЗОВИТЕСЬ, ВЕТЕРАНЫ!

Накануне своего шестидесятилетия «Роман-газета» приходит к своим читателям молодой и полнокровной (несмотря на свой возраст!).

За последние три-четыре года ее ежегодный тираж составляет более трех миллионов экземпляров. Наши постоянные подписчики через «Роман-газету» познакомились более чем с 450 романами и несколькими сотнями повестей советских и зарубежных писателей. Какую уникальную библиотеку из изданий «Роман-газеты» имеют читатели, которые выписывают ее многие годы!

При миллионных тиражах каждое произведение, печатаемое в «Роман-газете», прочитывают более 20 миллионов человек. Наше издание стало поистине народным журналом, который читают не только на родине, но и во многих зарубежных странах.

Редакция «Роман-газеты» постоянно поддерживает связь со своими читателями. Их письма помогают нам формировать годовые планы, решать технические и полиграфические вопросы издания.

Сегодня мы обращаемся к нашим постоянным подписчикам, чтобы назвать поименно тех, кто в течение многих лет выписывает «Роман-газету».

Хотелось, чтобы вы написали, с какого года выписываете «Роман-газету». Особенno просим отозваться тех, кто выписывал «Роман-газету» до 40-го года.

Напишите, когда вы впервые начали читать «Роман-газету»? Как вы узнали об этом издании? И конечно, сообщите, что вам особенно запомнилось из прочитанного в «Роман-газете».

Ветеранов «Роман-газеты» мы отметим книгами с автографами авторов и опубликуем письма наиболее последовательных наших друзей.

**Наш адрес: 107882, Москва, Ново-Басманская ул., д. 19,  
редакция «Роман-газеты»**

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Юрий БОНДАРЕВ

Семен БОРЗУНОВ

Витаутас БУБНИС

Олег ВОЛКОВ

Геннадий ГОЦ

Владимир ГУСЕВ

Юрий ГРИБОВ

Владимир ДУДИНЦЕВ

Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь)

Сергей ЗАЛЫГИН

Феликс КУЗНЕЦОВ

Леонид ЛЕОНОВ

Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора)

Василий НОВИКОВ

Петр ПРОСКУРИН

Валентин РАСПУТИН

Леонид ФРОЛОВ

1 р. 10 к.

70782

# РОМАН-ГАЗЕТА

10

34/2 - 55

В одиннадцатом и двенадцатом номерах  
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»  
читайте  
книгу

Владимира Карпова  
«МАРШАЛ ЖУКОВ.  
ЕГО СОРАТНИКИ И ПРОТИВНИКИ  
В ГОДЫ ВОИНЫ И МИРА»

